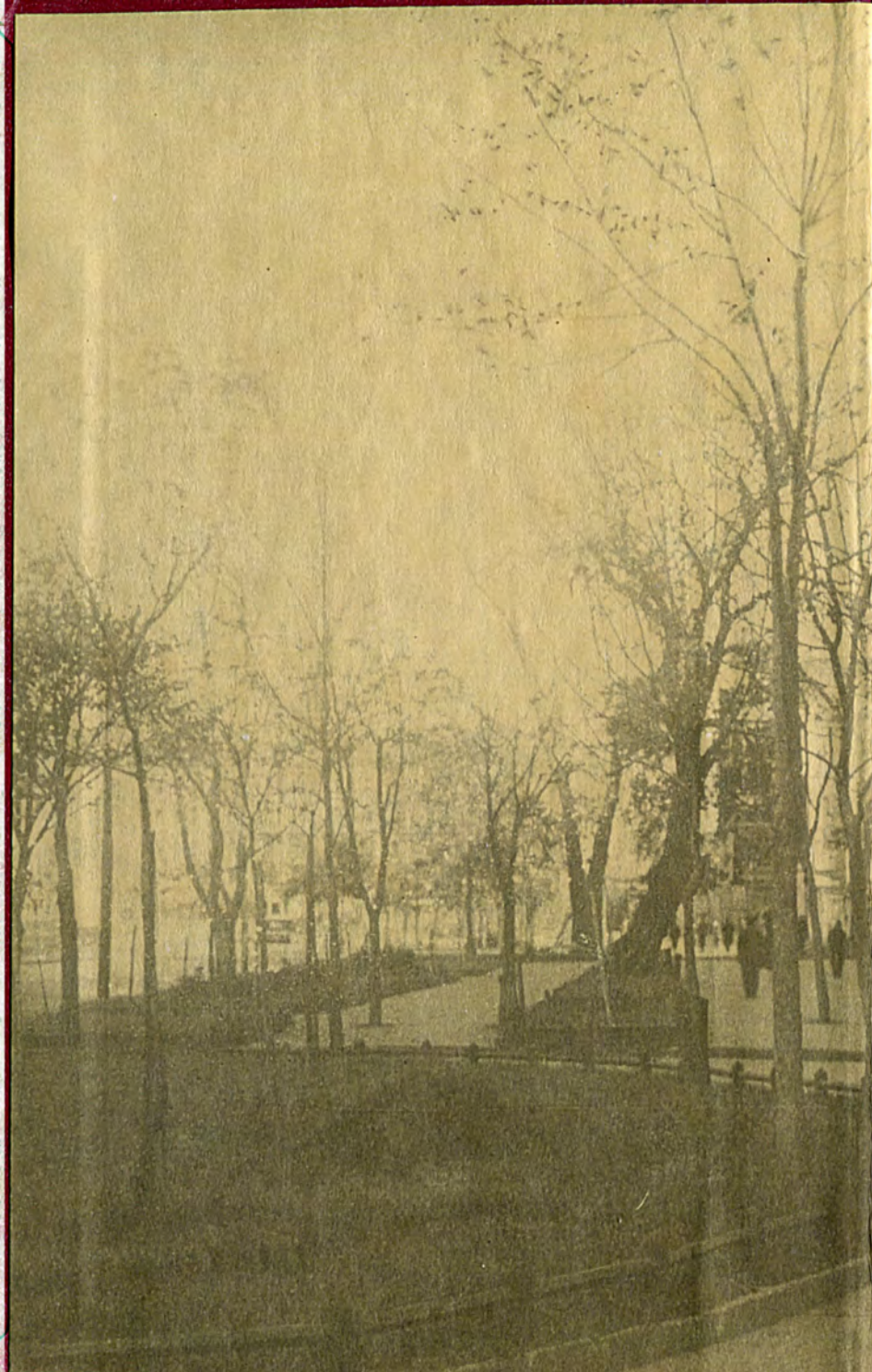


МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Соба́чье се́рдце







М. С. Яковлев

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ВИКТОР ПЕТЕЛИН

*Составление,
предисловие, подготовка текста*

1

ДЬЯВОЛИАДА

2

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

3

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

4

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

5

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

6

КАБАЛА СВЯТОШ

7

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

8

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

9

МАСТЕР И МАРГАРИТА

10

ПИСЬМА

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ТРЕТИЙ

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ
ФЕЛЬЕТОНЫ, ОЧЕРКИ
март 1925 — 1927

Москва
«ГОЛОС»
1995

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус) 6
Б 90

Редакционный совет:

АЛЕШКИН П. Ф. — председатель,
КОНОВКО А. В., КУЗЬМИН Г. М., МЕНЬКОВ А. Т., САВЧЕНКО В. В.,
ТИМОФЕЕВ В. В., ФОМИН И. Р., ФОМИНА Л. Р.

Художник РАСТОРГУЕВ Г.Д.

ISBN 5-7117-0307-2 (т. 3)
ISBN 5-7117-0304-8

© Составление. Петелин В. В. 1995
© Оформление. Издательство «Голос», 1995

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

Счастливая пора? У Булгакова? Быть того не может! — возражают «знатоки», начитавшиеся критиков и литературоведов, представляющих жизнь и творчество М. А. Булгакова лишь как непрерывную цепь постоянных мучений, неудач, душевной хандры, как постоянную цепь преследований и страха.

Мне довелось подолгу разговаривать с Еленой Сергеевной Булгаковой и Любовью Евгеньевной Белозерской-Булгаковой в ту пору, когда о Михаиле Афанасьевиче мало что было известно. Теперь читатели могут прочитать воспоминания и дневники, письма самого Булгакова и отзывы о нем и его творчестве... И накопившийся биографический материал может дать многогранную и объективную картину о том, как он жил и творил, какие препятствия возникали на его творческом и жизненном пути и как он их преодолевал...

Он очень рано понял, что нельзя в полную меру доверяться письмам, которые можно перлюстрировать, он призывал к осторожности и сестер, хотя порой не сдерживался и признавался в своих симпатиях и антипатиях. Он уговаривал себя не выступать и не спорить в разношерстных литературных кругах, особенно на острые и злободневные темы, и все-таки выступал и говорил «больше, чем следует», признавался он не раз самому себе, оставаясь наедине с самим собой и записывая в дневнике о только что пережитом. Это относится и к тому периоду, который я называю счастливым.

3 января 1925 года Булгаков записывает в дневнике: «Были сегодня вечером с женой в «Зеленой лампе». Я говорю больше, чем следует, но не говорить не могу. Один вид Ю. Потехина, приехавшего по способу чеховской записной книжки и нагло уверяющего, что...

— Мы все люди идеологии, —
действует на меня, как звук кавалерийской трубы.

— Не бреши!

...Ужасное состояние: все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно — 10 лет отрешивался от своего... Бабы как бабы. А теперь унижаюсь даже до легкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая».

«Прекраснейшей женщиной» называет он свою жену в одном из своих сочинений («Москва 20-х годов»). Он всерьез увлечен этой обаятельной женщиной. Даже в старости, когда я с ней познакомился, она была неотразима своим умом, умением вести себя в любой компании, умением вести разговор на любые темы: она с серебряной медалью окончила Демидовскую гимназию, училась в балетной школе, умела петь и рисовать, но как только началась первая мировая война она, окончив курсы медсестер, работала в госпитале. Потом — Константинополь, Париж, Берлин... Она обладала несомненными литературными способностями, писала рассказы, вместе с Михаилом Афанасьевичем с увлечением принимала участие в написании пьесы «Белая глина», которую не смогли закончить, понимая, что пьеса из «светской» жизни богатых людей сейчас никому не нужна.

И вот эта женщина пошла за Булгакова, у которого в то время не было денег, чтобы снять квартиру для совместного проживания, пошла на совершенно необеспеченную жизнь с писателем, явно не желающим приспособливаться к советским порядкам, к советскому быту.

Понять Булгакова можно, когда он признается себе, что все больше и больше влюбляется в свою жену... Разве это не счастье?

Еще из дневника: 25 февраля 1924 года он записывает: «Предо мной неразрешимый вопрос. Вот и все».

И разве только один неразрешимый вопрос вставал перед ним в то сложное и непредсказуемое время, когда столько, казалось бы, противоречивого и даже противоположного по своим устремлениям сталкивалось в борьбе, составляя единое целое — ЭПОХУ.

В это время он с увлечением работает над фантастической повестью «Собачье сердце», но тут же встает неразрешимый вопрос: где и кто ее напечатает... Если уж с «Дьяволиадой» и «Роковыми яйцами» были трудности, то в «Собачьем сердце» он покажет, на что он способен как писатель, художник, творец совершенно невиданного вымышленного мира, где реальное соседствует с фантастическим. Его торопили... Ангарскому повесть понравилась, и он попросил поспешить с ее окончанием: недели через две-три он может уехать за границу, а без него никто не возьмется провести ее

через цензуру. Конечно, Булгаков работал со всей энергией, ему присущей, но так не хотелось портить конец, как это было с «Роковыми яйцами».

«Собачье сердце» Булгаков читал не только у Ангарского, но и на «Никитинских субботниках», хотя публику, которая там собиралась, он не уважал. Но именно на «Никитинских субботниках» он услышал самый высокий отзыв, который ему доводилось слышать за всю свою творческую жизнь. «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации отношения к происходящему», — сказал один из выступавших на обсуждении повести.

Работа над повестью подходила к концу, когда Ангарский ознакомил Булгакова с отзывом М. Волошина о шестой книжке «Недр», где, как известно, были опубликованы «Роковые яйца» и где по первоначальному замыслу должна быть «Белая гвардия». О «Белой гвардии» Волошин говорил как о вещи «очень крупной и оригинальной». Ангарский не согласен с Волошиным, считает, что роман слаб, а сатирические повести хороши, но их трудно проводить через цензуру. Вот и «Собачье сердце» вряд ли пройдет.

Так оно и получилось. Повесть долго держали в цензуре. И перед Булгаковым встал вопрос, опять же «неразрешимый»: либо ждать публикации «Собачьего сердца», либо опубликовать сборник «Дьяволиада», уже сданный в производство, но одновременно опубликовать издательство не в состоянии. Но вскоре и этот «неразрешимый вопрос» уже не вставал перед ним. Ангарский уехал в командировку, а цензура вернула повесть как недопустимую в печати. Вместе с «Собачьим сердцем» издательство «Недра» возвратило и «Записки на манжетах»...

Узнав о решении цензуры, Ангарский через своих помощников советует Булгакову послать повесть в Боржом Л. Каменеву, во время отдыха он, дескать, прочтет, повесть сопроводить «слезным» письмом, где и рассказать о всех мытарствах автора... «Почему автор должен слезно просить кого-то? Если уж «Недра» считают, что повесть можно опубликовать, то пусть сами и пишут, и не слезное письмо, а аргументированное», — думал в эти дни Булгаков. А письмо так и не послал в надежде на возвращение Ангарского, принимавшего столь горячее участие в его писательской судьбе.

А пока деньги есть, хорошо бы отдохнуть на юге. Да и надежды есть на лучшее будущее, скоро выйдет пятый номер «России» со второй частью романа, затем шестой с его окончанием. О романе заговорили, обратили на него внимание и в Художественном театре, пригласили «познакомиться и переговорить о ряде дел». Оказа-

лось, что Театр предлагает написать по «Белой гвардии» пьесу. Это предложение обрадовало его, потому что он и сам уже набрасывал целые сцены для театрального действия и чувствовал, что получается.

29 марта 1925 года И. Лежнев, задумавший отметить трехлетие своего журнала «Россия», писал Булгакову: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Посылаю вам корректуру третьей части романа. Очень прошу выбрать небольшой, но яркий отрывок из написанного Вами когда-либо для прочтения на вечере, посвященном трехлетию журнала. Сегодня, в воскресенье, ровно в 7 час. у нас на Полянке будет несколько авторов, которые прочтут намеченные для вечера отрывки. Просим очень Любовь Евгеньевну и Вас прийти вечером к нам на эту предварительную читку, захватив с собой и тот отрывок, который Вы проектируете. Учтите, что тема вечера — Россия и «Россия». Хорошо бы, если б в прочитанном было хотя бы косвенное тематическое совпадение.

Если за сегодняшний день прочтете посылаемую корректуру, прихватите и ее. Привет Л. Е. Ждем Вас обонх. Ваш И. Лежнев».

Вечер состоялся в понедельник, 6 апреля, в Колонном зале Дома союзов. В нем приняли участие: Андрей Белый, И. Лежнев, В. Богораз (Тан), М. Столяров, Качалов, Лужский, Москвин, Чехов, Дикий, Завадский, П. Антокольский, М. Булгаков, Б. Пастернак, Д. Петровский, О. Форш.

И. Лежнев приглашает Булгакова посетить редакцию 29 апреля: «...2) у меня к этому моменту, надеюсь, будут первые экземпляры № 5; 3) мне нужен для дальнейшей работы конец романа; 4) надо поговорить об анкете, которую мы проводим среди писателей и будем печатать в № 6. Вы сами понимаете, что все эти дела требуют личного Вашего присутствия. Очень прошу не подвести и на сей раз быть аккуратным». Тон приглашения таков, что, видимо, Булгаков «подводил» своего благодетеля. Скорее всего, Булгаков имел причины для такого поведения: уж очень мало платил и, главное, задерживал публикацию романа.

В эти дни Булгаков думал об отдыхе. Еще в прошлом году он вместе с Любовью Евгеньевной мечтал о совместном путешествии, но не удалось достать денег. Теперь другое дело. И он 10 мая 1925 года направляет письмо Волошину: «Многоуважаемый Максимilian Александрович! Н. С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам, не откажите мне черкнуть, не могу ли я с женой у Вас на даче получить отдельную комнату в июле—августе. Очень приятно было бы навестить Вас. Примите привет. М. Булгаков».

1 июня он получает от Волошина положительный ответ.

7 июня Булгаков получил письмо от И. Лежнева: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Вы «Россию» совсем забыли. Уже давно пора сдавать материал по № 6 в набор, надо набирать окончание «Белой гвардии», а рукописи Вы все не заносите. Убедительная просьба не затягивать более этого дела...»

Задержка с рукописью вполне объяснима: в эти июньские дни Булгаковы заняты сборами на юг, решили поехать в июне, а не июле—августе, как сначала предполагали. Значит, дел навалилось очень много. Возникали по-прежнему и все те же «неразрешимые вопросы»... Бросать работу в «проклятом» «Гудке» или повременить... Любовь Евгеньевна подсказывала, что бросать ни в коем случае нельзя, уж слишком зыбко материальное положение, а «Гудок» давал на «хлеб». Поэтому Булгаков, заваленный работой над подлинным (роман, пьеса по роману, рассказ «Стальное горло», задуманный как начало целого цикла «Записок юного врача», рассказ «Таракан»), должен был все отложить и написать несколько фельетонов для «Гудка», чтобы выполнить норму: 6—8 фельетонов в месяц... И если в апреле — три фельетона, в мае — два, то в июне, перед отпуском и поездкой на юг, Булгаков публикует один за другим, 2, 3, 4, три фельетона. Среди этих фельетонов есть просто великолепные, такие, как «Смычкой по черепу» и «Двуликий Чмс». Перерыв в сорок дней, а как только приехал — 15, 16, 18 и 25 июля — один за другим появляются фельетоны в «Гудке»: «При исполнении святых обязанностей», «Человек с градусником», «По поводу битья жен», «Негритянское происшествие»...

А разве мог Булгаков остаться равнодушным к природным красотам Крыма и не запечатлеть самое интересное, что он увидел? И Булгаков договаривается с «Красной газетой» в Ленинграде о серии очерков «Путешествие по Крыму».

Как только задумали поехать в Крым, так сразу в Москве все стало казаться кошмарным: улицы слишком пыльными, теснота в трамваях, даже пиво не улучшает пасмурного настроения, на общие собрания идти не хочется. «Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был, бухгалтер ли, журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым. В какое именно место Крыма?» — с выбора курорта начинает свои очерки Булгаков.

Коктебель, к Волошину — таков его конечный маршрут. А перед этим расскажет о своих переживаниях в поезде, поделится своими впечатлениями о Севастополе, Ялте, в Ливадии обратит внимание на «шоколадно-штучный дворец Александра III, а выше

него, недалеко, на громадной площадке белый дворец Николая II». «Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова». Вроде бы Булгаков лишь констатирует увиденное, но в таком сопоставлении бывших и нынешних руководителей страны — глубочайший смысл. Булгакову приходится скрывать свой образ мыслей, но в дневнике он не раз признается, что он — консерватор, что с таким образом мыслей ему трудно «вжиться» в современность.

Превосходно описан мой любимый Коктебель и «коктебельцы» с их постоянной охотой за «обломками обточенного сердолика». «По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневые. Сидят и роются, ползают на животе. Не мешайте людям — они ищут фернампинксы. Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни, покрытые цветными глазками...»

Ясно, что Булгаков не заболел «каменной болезнью». Много времени проводил в беседах на пляже с интересными для него людьми: с Максом Волошиным, Софьей Федорченко, Александром Габричевским, с которым был хорошо знаком еще по встречам в московских литературных кружках.

Был в Коктебеле и Леонид Леонов с женой, но слишком разными оказались у них характеры, чтобы подружиться, да и положение Леонова к тому времени было завидным: вышел и прогремел роман «Барсуки», первая его книга уже переведена на немецкий язык... Мог ли Булгаков на равных вести разговоры с такой знаменитостью? Нет, конечно! Ведь до сих пор у Михаила Афанасьевича еще не было книжки, вот-вот она должна выйти, но пока он — фельетонист «Гудка», автор двух сатирических повестей и неоконченного романа. Все это вызывало у Булгакова болезненные переживания...

Вернувшись в Москву в начале июля, он сразу же включается в обычную литературную жизнь; наконец-то вышел сборник его рассказов и повестей, в «Заре Востока» — рассказ «Таракан», а в «Красной панораме» — «Стальное горло», издательство «ЗиФ» заключает договор на издание «фантастического романа» «Багровый остров»... Все это радостно и неожиданно, но сможет ли он «продержаться» без фельетонов в «Гудке»... Нет, конечно...

Фельетону «При исполнении святых обязанностей» («Гудок», 15 июля 1925 года) предпослано коллективное письмо, в котором говорится, что «15 июня с. г. в 7 часов вечера в больницу явился в нетрезвом виде представитель учстрахкассы К. Сергиевский...»

Элементарный, простой человеческий стыд должен был подсказать этому представителю учстрахкассы, что сюда, в родильное отделение больницы, вход мужчинам строго запрещен, здесь святая святых, здесь происходит рождение человека... Но ничто не может остановить распоясавшегося хама, чрезмерно глотнувшего пива, ни просьбы фельдшерицы, ни мольбы роженицы... Еще более постыдная сцена произошла в гинекологическом отделении. Представитель учстрахкассы попытался сдернуть одеяло с больной, фельдшерица, набравшись храбрости, потребовала прекратить «этот осмотр» — «вы беспокоите больных». И вот тут прорвало ретивого общественного деятеля.

« — Что-о?! — спросил посетитель, и ярость начала выступать на его малиновом лице, — как ты сказала? Я беспокою? Я?! Я?! Я?! Я!!!! Член учстрахкассы беспокою больных? Да ты знаешь, кто ты такая после всех твоих замечаний?

— Кто? — спросила, бледнея, фельдшерица.

— Свинья ты, вот ты кто!.. Ты знаешь, что я с тобой могу сделать? Ты у меня в 24 минуты вылетишь на улицу... и на этой улице сгниешь под забором... Ты у меня пятки лизать будешь и просить прощения! Н-но... я т-тебя не прошу! Пойми, несознательная личность, что это моя святая обязанность — осмотр больных и выявление их нужд. Может быть, они на что-нибудь жалуются?»

Но больные вовсе не жалуются, а просят уйти его отсюда. И снова представитель входит в административный раж.

« — Под каким одеялом это сказали? — грозно осведомился гость. — Под этими одеялами?! Молчи, проходимка!! Я вам покажу кузькину мать...»

Ревизор ушел. «Куда — мне неизвестно. Но во всяком случае да послужит ему мой фельетон на дальнейшем его пути фонарем».

Возможно, эта конкретная история имела свое продолжение. Конкретная личность представителя учстрахкассы, надеюсь, была осуждена. Но смысл фельетона был гораздо глубже. Булгаков осуждал не только конкретных носителей хамства и невежества, за этими конкретными фактами он увидел целое явление, вылившееся потом в субъективизм, волюнтаризм, волевые методы руководства страной, народом. Человек, чуть-чуть возвысившийся над другими, уже не считается с их мнениями, с их оценкой своей собственной жизни и деятельности. Подавить, растоптать чужое мнение, навязать свой образ мыслей, поставить человека в зависимость от собственной власти, заставить его делать то, что приказывают, таковы устремления этих маленьких и больших властолюб-

цев. «Я?! Я?! Я?!» — любимые местоимения этих людишек, дорвавшихся до власти. И Булгаков беспощаден к любым проявлениям подобного «ячества».

И к тому же фельетон, как «скорая помощь», быстро приходит к читателям, порой мгновенно реагирует на фельетон начальство, исправляя допущенные ошибки. В фельетоне «По поводу битья жен» Булгаков отвечает конкретному человеку на конкретное его предложение: «Нет, семьянин! Ваш проект плохой. Бьют жен не от необеспеченности. Бьют от темноты, от дикости и алкоголизма...» В «Негритянском происшествии» мелкие начальнички позволяют себе, напившись, избивать официанта. «Мы смотрим на такие происшествия крайне отрицательно...» Так отвечает Булгаков на вопрос рабкора Лага, «поэтому и печатаем ваше письмо».

В фельетоне «Чемпион мира. Фантазия в прозе», опубликованном «Гудком» 25 декабря 1925 года, Булгаков описывает прямое столкновение начальника и массы, которое заканчивается в пользу начальника. И снова, в который уж раз, вроде бы ничего особенного не происходит в фельетоне. Автор описывает будничное событие: на участковом съезде выступил Удзер «и шелкал, как соловей весной в роще». Собравшихся крайне удивил доклад, из которого следовало, что работа на участке выполнена на 115%. И после этого доклада всем захотелось выступить и спросить, откуда же взялась эта цифра. Но докладчик обиделся, узнав, что многие хотят выступить в прениях; он уверен в том, что «прений по докладу быть не может. Что в самом деле преть понапрасну?» То, что он сказал, истина в последней инстанции — вот его душевное состояние:

« — Это что же... Они по поводу моего доклада разговаривать желают? — спросил Удзер и обидчиво скривил рот».

Один за другим выступают на собрании Зайчиков, Пеленкин, но Удзер Зайчикова обзывает «болваном», Пеленкина — «ослом», «следующего оратора» — «явно дефективным человеком», а четвертый, Фиусов, сам отказывается от выступления, «сдрейфил парень», вслед за ним отказались и другие ораторы, только что записавшиеся в прениях:

« — Список ораторов исчерпан, — уныло сказал растерявшийся председатель, недовольный оживлением работы. — Никто, стало быть, возражать не желает?

— Никто!! — ответил зал.

— Bravo, бис, — грохнул бас на галерке, — поздравляю тебя, Удзер. Всех положил на обе лопатки. Ты чемпион мира!!»

И действительно, собрание чем-то напоминало французскую борьбу.

А то, что произошло в жизни и что описал Булгаков в фельетоне «Смычкой по черепу» («Гудок», 27 мая 1925 года), даже сеансом французской борьбы нельзя назвать. В основе фельетона, дает справку редакция, истинное происшествие, описанное рабкором № 742. В село Червонное Фастовского района Киевской губернии прибыл сам Сергеев «устраивать смычку с селянством». В хате-читальне набилось народу так, что негде яблоку было упасть. Припелся на собрание и дед Омелько, по профессии — середняк.

В острых сатирических тонах описывает Булгаков происходящее в хате-читальне: «Гость на эстраде гремел, как соловей в жимолости. Партийная программа валилась из него крупными кусками, как из человека, который глотал ее долгое время, но совершенно не прожевывал!

Селяне видели энергичную руку, заложенную за борт куртки, и слышали слова:

— Больше внимания селу... Мелиорация... Производительность... Посевкампания... середняк и бедняк... дружные усилия... мы к вам... вы к нам... посевматериал... район... это гарантирует, товарищи... семенная ссуда... Наркомзем... Движение цен... Наркомпрос... Тракторы... Кооперация... облигации...

Тихие вздохи порхали в хате. Доклад лился, как река. Докладчик медленно поворачивался боком; и, наконец, совершенно повернулся к деревне...»

Наконец доклад закончился, и наступило «натянутое молчание». Встал дед Омелько и откровенно признался, что он ничего не понял, пусть, дескать, «смычник» по-простому расскажет «свой доклад».

Только что «горделиво» поглядывавший на сельчан «сам» Сергеев «побагровел» и «металлическим» голосом крикнул:

« — Это что еще за индивидуализм? »

Дед Омелько обиделся, ему послышалось, что его обозвали индюком. А Сергеев в это время, узнав, что дед Омелько не член комитета незаможников, «хищно воскликнул»:

« — Ага! стало быть, кулак! »

Собрание побледнело.

— Так вывести же его вон!! — вдруг рывкнул Сергеев и, впад в иступление и забывчивость, повернулся к деревне не лицом, а совсем противоположным местом.

Собрание замерло. Ни один не приложил руку к дряхлому деду,

и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не выручил докладчика секретарь сельской рады Игнат. Как коршун, налетел секретарь на деда и, обозвав его «сукиным дедом», за шиворот поволок его из хаты-читальни.

Когда вас волокут с торжественного собрания, мудреного нет, что вы будете протестовать. Дед, упираясь ногами в пол, бормотал:

— Шестьдесят лет прожил на свете, не знал, что я кулак... а также спасибо вам за смычку!

Способ доказательства Игнат избрал оригинальный. Именно, вытащив деда во двор, урезал его по затылку чем-то настолько тяжелым, что деду показалось, будто бы померкнуло полуденное солнце и на небе выступили звезды».

Вот так закончилась смычка для деда Омелько.

И Булгаков гневно обращается к участникам этого инцидента:

«Знаете что, тов. Сергеев? Я позволю себе дать вам два совета (они также относятся и к Игнату). Во-первых, справьтесь, как здоровье деда. А во-вторых: смычка смычкой, а мужиков портить все-таки не следует. А то вместо смычки произойдут неприятности.

Для всех.

И для вас, в частности».

Все тот же рабкор 742 описал еще один чрезвычайный случай, происшедший в районе станции Фастов:

«На ст. Фастов ЧМС издал распоряжение о том, чтобы ни один служащий не давал корреспонденций в газеты без его просмотра.

А когда об этом узнал корреспондент, ЧМС испугался и спрятал книгу распоряжений под замок».

Вот это сообщение рабкора послужило фактической основой для фельетона «Двуликий Чемс», опубликованного в «Гудке» 2 июня 1925 года.

Чемс, чувствуя себя хозяином на станции, установил такой порядок, что все были подвластны его желаниям и прихотям. И всякое иное мнение способно только разрушить заведенный им порядок. А раз пишут в газеты, то, следовательно, чем-то недовольны, стремятся думать самостоятельно. Нет, всякие писания в газеты — «пакость» для него, желание навести «тень на нашу дорогую станцию». Вот почему он созвал своих служащих и спросил: «Кто писал?» Ясное дело, никто не сознается. Все уже знают: сознаешься, вылетит с работы, а потом доказывай свою правоту. Чемс разочарован: «Странно. Полная станция людей, чуть не через день какая-нибудь этакая корреспонденция, а когда спрашиваешь: «кто?» — виновного нету. Что ж, их святой дух пишет?»

Чемс не скрывает своего отношения к писакам, они для него — виновные, и он бы растоптал этих писак, если бы они ему попались. А посему он издал приказ, «чтоб не смели» писать письма в газеты.

Столица, привыкшая получать с этой станции письма, погрузилась в недоумение: что ж там происходит, неужто на станции никаких происшествий? И послали корреспондента.

Больше всего такие, как Чемс, ненавидят гласность — с гласности начинается демократия, каждый может выступать и критиковать. Он готов был бы прогнать корреспондента, но знает, что фельетон, статья в газете — сильнодействующее средство против таких, как он.

Корреспондент приехал, чтобы наладить связь рабочих и служащих станции с редакцией газеты. И Чемса словно подменили. И он тоже за связь, полгода бьется, чтобы наладить эту самую связь, но народ не хочет, уж очень дикий народ, «прямо ужас». И, созвав служащих, обратился к ним с проникновенной речью писать в газеты, «наша союзная пресса уже давно ждет ваших корреспонденций, как манны небесной, если можно так выразиться. Что же вы молчите?

Народ безмолвствовал».

Вроде бы примитивен «двуликий Чемс», действовал прямолинейно и откровенно. Вроде бы легко разоблачить таких Чемсов. Но ведь и до наших дней дожил, распространившись, как раковая опухоль, по всей системе управления хозяйством, внедрившись в самые ее высокие сферы, этот двуликий Чемс.

Читаешь центральные газеты и то и дело натыкаешься на сообщения о таких вот Чемсах: ни один работник ни одного министерства или ведомства не мог дать интервью без разрешения начальства, а потому повсюду копились негативные явления, приведшие к полному развалу нашего хозяйства. Вот одно из сообщений в «Правде». В письме в редакцию «Правды» от 11 июля 1987 года «Гроза над биосферой», подписанном академиками К. Кондратьевым и В. Зуевым и кандидатом технических наук Л. Соловьевым, приводятся данные, которые до сих пор были неизвестны, и неизвестны все из-за таких, как Чемс, не желавших, чтобы правда становилась гласной, известной широким массам Советского Союза. «Мы все помним, — говорится в письме, — как бурно развивались события в связи с решением о строительстве Байкальского ЦБК, другими негативными явлениями, вредящими биосфере. Они вызвали активную реакцию общественности, вставшей на защиту чистоты озер, рек, атмосферы в городах и

промышленных зонах. Чем же ответили на это министерства и ведомства, использующие ресурсы биосферы? Они объединенными усилиями добились запрета на публикацию данных о состоянии окружающей среды!»

И запретили Чемсы, проникшие во все сферы нашей жизни и нанешие ей непоправимый урон. И не только Чемсы, но и Сергеевы... И не только Чемсы и Сергеевы, но и многие герои фельетонов Булгакова.

А по ночам он работал над пьесой. Трудности он испытывал невероятные: хотелось как можно больше взять из романа, а нельзя, законы театра заставляли его концентрировать события, «выбрасывать» целые сюжетные линии и переосмысливать некоторые образы... В «Театральном романе» Булгаков подробно расскажет о своих творческих муках.

31 августа Булгаков получил записку режиссера Судакова с просьбой прочитать пьесу вернувшимся из отпусков артистам, режиссерам, работникам Театра. В присутствии Станиславского он прочитал пьесу, ее одобрили как материал будущей пьесы, высказали ряд полезных советов, которые Булгаков принял: пьесу необходимо «уложить» в театральное время, не затягивать ее действие до первых петухов.

В эти же дни блеснула вновь надежда на публикацию «Собачьего сердца». Вернувшийся из заграничной командировки С. Н. Ангарский энергично хлопотал о публикации понравившегося произведения. Ходил в цензуру, бывал в «инстанциях», наконец отправил рукопись повести Л. Каменеву. Но уже 11 сентября Булгаков получил письмо от Бориса Леонтьева, нового сотрудника издательства «Недра»: «Повесть Ваша «Собачье сердце» возвращена нам Л. Б. Каменевым. По просьбе Николая Семеновича он ее прочел и высказал свое мнение: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя».

Конечно, нельзя придавать большого значения двум-трем наиболее острым страницам; они едва ли могли что-нибудь изменить в мнении такого человека, как Каменев. И все же, нам кажется, Ваше нежелание дать ранее исправленный текст сыграло здесь печальную роль».

Ангарский искренне хотел «протащить» повесть через цензуру и высокие инстанции, но и ему, вхожему к членам политбюро, не удалось издать эту повесть.

Однажды на голубятне «возникла дама в большой черной шляпе, украшенной кохтебельскими камнями, — вспоминала

Л. Е. Белозерская. — Они своей тяжестью клонили голову дамы то направо, то налево, но она держалась молодцом, выправляя равновесие.

Посетительница передала привет от Максимилиана Александровича и его акварели в подарок. На одной из них бисерным почерком Волошина было написано: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской убоицы, с глубокой любовью».

Любовь Евгеньевна также вспоминает о посещении голубятни режиссером Алексеем Дмитриевичем Поповым. Вместе с ним был и актер Василий Васильевич Куза: «Оба оказались из Вахтанговского театра... Они предложили М. А. написать комедию для театра». Булгаков с удовольствием согласился. Так началась работа над «Зойкиной квартирой».

Но счастливая пора не может длиться бесконечно, особенно у Михаила Афанасьевича Булгакова, который уже обратил на себя внимание официальной критики и власть имущих. А это для Булгакова не сулило ничего хорошего. Так оно и вышло. Пьеса почему-то оказалась у Луначарского, высказавшего противоречивые суждения: с одной стороны, он не возражает против ее постановки, потому что не видит в ней ничего недопустимого с политической точки зрения, с другой стороны, считает ее пошлой и бездарной. Театр заколебался, стали предъявлять дополнительные претензии к автору, явно затягивая постановку пьесы со столь противоречивой репутацией.

14 октября было проведено экстренное совещание репертуарно-художественной коллегии МХАТа, принявшей следующее решение: «Признать, что для постановки на Большой сцене пьеса должна быть коренным образом переделана. На Малой сцене пьеса может идти после сравнительно небольших переделок. Установить, что в случае постановки пьесы на Малой сцене она должна идти в текущем сезоне; постановка же на Большой сцене может быть отложена и до будущего сезона. Переговорить об изложенных постановлениях с Булгаковым».

Получив это ультимативное постановление, Булгаков в столь же решительном тоне 15 октября ответил В. В. Лужскому, артисту и одному из руководителей МХАТа: «Вчерашнее совещание, на котором я имел честь быть, показало мне, что дело с моей пьесой обстоит сложно. Возник вопрос о постановке на Малой сцене, о будущем сезоне и, наконец, о коренной ломке пьесы, граничащей, в сущности, с созданием новой пьесы.

Охотно соглашаясь на некоторые исправления в процессе работы над пьесой совместно с режиссурой, я в то же время не чувствую себя в силах писать пьесу наново.

Глубокая и резкая критика пьесы на вчерашнем совещании заставила меня значительно разочароваться в моей пьесе (я приветствую критику), но не убедила меня в том, что пьеса должна идти на Малой сцене.

И, наконец, вопрос о сезоне может иметь для меня только одно решение: сезон этот, а не будущий.

Поэтому я прошу Вас, глубокоуважаемый Василий Васильевич, в срочном порядке поставить на обсуждение в дирекции и дать мне категорический ответ на вопрос:

Согласен ли 1-ый Художественный Театр в договор по поводу пьесы включить следующие безоговорочные пункты:

1. Постановка только на Большой сцене.
2. В этом сезоне (март 1926).
3. Изменения, но не коренная ломка стержня пьесы.

В случае, если эти условия неприемлемы для Театра, я позволю себе попросить разрешения считать отрицательный ответ за знак, что пьеса «Белая гвардия» — свободна.

Уважающий Вас М. Булгаков.

Чистый пер. (на Пречистенке), д. 9, кв. 4».

(См.: «Письма», с. 97—98.)

Решительная позиция автора сломила сомневающихся. Театр принял решение продолжать работу с автором, приняв его условия.

В это время Выставочный комитет Всероссийского Союза писателей обратился к Булгакову с просьбой прислать произведения, вышедшие в 1917—1925 гг., автограф и портрет. Послал «Дьяволяду», автограф... «Что касается портрета моего:

— Ничем особенным не прославившись как в области русской литературы, так равно и в других каких-либо областях, нахожу, что выставлять мой портрет для публичного обозрения — преждевременно.

Кроме того, у меня его нет». («Письма», с. 99.)

И еще приведу здесь одно самое, может быть, безрадостное письмо: «В Конфликтную комиссию Всероссийского Союза. Заявление.

Редактор журнала «Россия» Исая Григорьевич Лежнев, после того, как издательство «Россия» закрылось, задержал у себя, не имея на то никаких прав, конец моего романа «Белая гвардия» и не возвращает мне его.

Прошу дело о печатании «Белой гвардии» у Лежнева в Конфликтной комиссии разобрать и защитить мои интересы».

Но Союз писателей был бессилен защитить интересы Булгакова, как и интересы других писателей, оказавшихся в таком же положении.

Конец 1925 и начало 1926 года. Булгаков полностью отдается драматургии: дорабатывает «Белую гвардию», завершает «Зойкину квартиру» и ведет переговоры с вахтанговцами о ее постановке, наконец 30 января 1926 года заключает с Камерным театром договор на пьесу «Багровый остров».

В конце апреля 1926 года вышло второе издание сборника рассказов и повестей «Дьяволиада», полным ходом идут репетиции «Белой гвардии» и «Зойкиной квартиры», заключен договор на пьесу по «Собачьему сердцу», поговаривают и о пьесе по «Роковым яйцам». На «Белую гвардию» и «Зойкину квартиру» заключает договоры Ленинградский Большой драматический театр.

И одновременно со всем этим в «Гудке» появляются фельетоны «Мертвые ходят», «Горемыка-Всеволод», «Ликующий вокзал», «Сентиментальный водолей», «Паршивый тип», «Тайна несгораемого шкафа»... Их не так уж много, но бросать «Гудок» страшно. Все еще так зыбко, неустойчиво, особенно после того, как начались критические, порой просто ругательные отзывы в газетах и журналах. Но никогда, может быть, он не был так счастлив, как в эти годы, 1925 и 1926 годы. Всей душой он любил театр, всегда мечтал писать для театра, во Владикавказе испытал первый успех, но не сравнить с тем, что он испытывал сейчас, работая для самых лучших театров, видя, как оживают страницы его пьес благодаря талантливым актерам и режиссерам... Что может быть прекраснее в жизни, а к неудачам он привык, критическую возню вокруг его произведений он как-нибудь переживет. Главное, Станиславский ставит его пьесу...

В 1971—1976 гг. я не раз бывал у Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой. Сколько интересного узнал я от нее. А однажды она дала мне прочитать еще не опубликованные воспоминания. Можно себе представить, с какой жадностью я вчитывался в эти страницы, а потом, договорившись о встрече, задавал и задавал вопросы...

Такие детали и подробности быта можно узнать только из воспоминаний действительно близкого человека, каким и была в эти годы Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова.

К ее воспоминаниям мы еще не раз вернемся в нашем разговоре о жизни, личности и творчестве М. А. Булгакова.

Любовь Евгеньевна не раз вспомнит о том, что именно здесь, на «голубятне», Михаил Булгаков написал пьесу «Дни Турбиных», повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце». С повестью «Роковые яйца» все обошлось благополучно, а вот «Собачьему сердцу» не повезло: Клеостову-Ангарскому так и не удалось напечатать эту повесть.

«Время шло, и над повестью «Собачье сердце» сгущались тучи, о которых мы и не подозревали, — вспоминает Л. Е. Белозерская. — ...в один прекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было), и на мой вопрос «кто там?» бодрый голос арендатора ответил: «Это я, гостей к вам привел!»

На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек — следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то примет он приход «гостей», и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти.

Все прошли в комнату и сели. Арендатор, развалился в кресле, в центре... и вдруг знакомый стук.

Я бросилась открывать и сказала шепотом М. А.:

— Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.

Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже).

Славкин занялся книжными полками. «Пенсне» стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.

И тут случилось неожиданное: М. А. сказал:

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 к. за штуку.)

И на нас обоих напал смех, может быть, нервный.

Под утро зевающий арендатор спросил:

— А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневной час?

Ему никто не ответил... Найдя на полке «Собачье сердце» и дневниковые записи, «гости» тотчас же уехали.

По настоянию Горького приблизительно через два года «Собачье сердце» было возвращено автору.

И только в наши дни узнаем, что взяли не только рукопись «Собачьего сердца», дневниковые записи под названием «Под пятой»,

но и внесли в протокол обыска и некое «Послание евангелисту Демьяну (Бедному)».

Владимир Виноградов в «Независимой газете» в рубрике «Глазами ОГП».» (29 апреля 1994 г.) устанавливает, что обыск на квартире Булгаковых происходил 7 мая 1926 года и что автором «Послания» был не Есенин, как предполагали многие тогдашние читатели, а, безвестный Николай Николаевич Горбачев, сотрудник «Крестьянской газеты». Сначала «Послание» ходило в списках, потом его напечатала эмигрантская газета «За свободу», выходившая в Варшаве. Наши чекисты знали эту газету как явно антибольшевистскую, проповедовавшую активные действия, вплоть до террора. Поэтому быстро нашли подлинного автора «Послания», допросили и сослали его в Нарым. В чем же дело?

Демьян Бедный, «правительственный поэт», как его повсюду называли, в апреле-мае 1925 года в «Правде» опубликовал поэму из 37 глав под названием «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». В развязной манере Д. Бедный представляет Христа как пьяницу, развратника, как «чумазого Христа» (См.: Демьян Бедный. Собр. сочинений, М., «Художественная литература», т. 5). Этот «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна» оскорбил чувства не только верующих, но и всех более или менее грамотных читателей: настолько это было грубо даже для Демьяна Бедного, не отличавшегося интеллигентностью.

И вот ответ на «Послание евангелисту Демьяну (Бедному)»:

Я часто думаю — за что его
казнили?
За что он жертвовал своею
головой?
За то ль, что враг суббот, он
против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?
За то ли, что в стране
проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и
свет и тень,
Он с кучкой рыбаков из бедных
деревень
За кесарем признал — лишь
силу злата?
За то ли, что себя, на части
раздробя,
Он к горю каждого был
милосерд и чуток,

И всех благословлял,
мучительно любя,
И маленьких детей, и грязных
проституток?
Не знаю я, Демьян, в свангельн
твоём
Я не нашел правдивого ответа.
В нем много пошлых слов, — ох,
как их много в нем, —
Но нет ни одного достойного
поэта.
Я не из тех, кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного
порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное
слаба —
Я верю в знание и силу
человека.
Я знаю, что, стремясь по
нужному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь
с телом,
Не мы, так кто-нибудь да
должен же дойти
Воистину к божественным
пределам!
И все-таки, когда я в «Правде»
прочитал
Неправду о Христе блудливого
Демьяна,
Мне стало стыдно так, как будто
я попал
В блевотину, изверженную
спяна.
Пусть Будда, Монсей,
Конфуций и Христос —
Далекый миф, — мы это
понимаем, —
Но все-таки нельзя, как
годовалый пес,
На вся и все захлебываться
лаем.
Христос, сын плотника, когда-то
был казнен,
Пусть это — миф, но все ж,
когда прохожий

Спросил его: «Кто ты?», — ему
ответил он, —
«Сын человеческий», а не
сказал — «Сын Божий».
Пусть миф Христос, как мифом
был Сократ,
Платонов «Пир» — вот кто нам
дал Сократа.
Так что ж, поэтому и надобно
подряд
Плевать на все, что в человеке
свято?
Ты испытал, Демьян, всего один
арест,
И ты скулишь: «Ох, крест мне
выпал лютой...»
А чтоб когда б тебе Голгофский
дали крест
Иль чашу едкую с цикутой?
Хватило б у тебя величья до
конца
В последний час, по их примеру
тоже, —
Благословить весь мир под
тернием венца
И о бессмертин учить на
смертном ложе?
Нет, ты, Демьян, Христа не
оскорбил,
Ты не задел его своим пером
нимало.
Разбойник был, Иуда был,
Тебя лишь только не хватало.
Ты сгустки крови у Креста
Копнул ноздрей, как толстый
боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной,
тяжелый грех.
Своим дешевым, балаганным
вздором
Ты оскорбил поэтов вольный
цех
И малый свой талант покрыл
большим позором.
Ведь там, за рубежом, прочтя
твои стихи,
Небось, злорадствуют
русские кликуши:

Еще тарелочку «Демьяновой
ухи»,
Соседушка, мой свет,
пожалуйста, покушай».
А русский мужичок, читая
«Бедноту», —
Где образцовый труд печатался
дулетом,
Еще отчаянней потянется к
Христу,
А коммунизму «мать» пошлет
при этом.

Я процитировал эти талантливые стихи не для того, чтобы обвинить ОГПУ, а просто потому, что эти стихи читал Булгаков, скорее всего радовался смелости поэта, эти стихи стали частью духовной жизни его. Эти вопросы интересовали его... Вот его дневниковая запись от 4 января 1925 года: «Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешниковом переулке, вернее, в Козмодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М. С., и он очаровал меня с первых же шагов.

— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

— То есть, как это? (растерянно). Нет, не бьют (зловеще).

— Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нет. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год. 12-й еще не вышел. Барышня, если можно назвать так существо, дававшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.

— Лучше я б его в библиотеку отдала.

Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходуется. В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, приходят; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы.

— Как в синагоге, — сказал М., выходя со мной.

Меня очень заинтересовало, на сколько процентов все это было для меня специально. Не следует, конечно, это преувеличивать, но у меня такое впечатление, что несколько лиц, читавших «Белую гвардию» в «России», разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением.

М...н отзыв об отрывке «Белой гвардии» меня поразил, его можно назвать восторженным, но еще до его отзыва окрепло у

меня что-то в душе. Это состояние уже три дня. Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь и «Белая гвардия» не сильная вещь.

Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодя и мошенника, именно его. Этому преступлению нет цены». (См.: «Театр», 1990, № 2, с. 156—157.)

Скорее всего, именно в эти годы Булгаков задумывается об эпизодах из жизни Христа и римского прокуратора. Собирает материал для будущих замыслов.

Обыск и арест «Собачьего сердца» и дневниковых записей насторожили Булгаковых, но не испугали. 21 мая Михаил Афанасьевич обратился в ОГПУ с просьбой вернуть ему взятые материалы...

И по-прежнему собирались на чтения у Николая Николаевича Лямина и его жены художницы Наталии Абрамовны Ушаковой: здесь Михаил Афанасьевич читал главы романа «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом» — первую редакцию будущего романа «Мастер и Маргарита».

«Настоящему моему лучшему другу Николаю Николаевичу Лямину. Михаил Булгаков, 1925 г., 18 июля, Москва» — с такой надписью Михаил Афанасьевич подарил Н. Н. Лямину «Дьявола».

Среди присутствующих постоянно на этих чтениях бывали писатель С. С. Заяицкий, шекспировед М. М. Морозов, филолог-античник Ф. А. Петровский, поэт и переводчик С. В. Шервинский, бывали искусствоведы, философы, режиссеры, актеры И. М. Москвин, В. Я. Станицын, М. М. Яншин, Ц. Л. Мансурова, Е. Д. Понсова. «Вспоминается мне и некрасивое, чисто русское, даже простоватое, но бесконечно милое лицо Анны Ильиничны Толстой. Один писатель в своих «Литературных воспоминаниях» (и видел-то он ее всего один раз!) отдал дань шаблону: раз внучка Льва Толстого, значит, ВЫСОКИЙ лоб; раз графиня, значит, маленькие аристократические руки. Как раз все наоборот: руки большие, мужские, но красивой формы. М. А. говорил о ее внешности — «вылитый дедушка, не хватает только бороды», — писала Любовь Евгеньевна. — Иногда Анна Ильинична приезжала с гитарой. Много я слышала разных исполнительниц романсов и старинных песен, но так, как пела наша Ануша — никто не пел! Я теперь всегда выключаю радио, когда звучит, например, «Калитка» в современном исполне-

нии. Мне делается неловко. А. И. пела очень просто, но как будто голосом ласкала слова. Получалось как-то особенно задушевно. Да это и немудрено: в толстовском доме любили песню. До 16 лет Анна Ильинична жила в Ясной. Любил ее пение и Лев Николаевич. Особенно полюбила ему песня «Весна идет, манит, зовет», — так мне рассказывала Анна Ильинична, с которой я очень дружила. Рядом с ней ее муж: логик, философ, литературовед Павел Сергеевич Попов, впоследствии подружившийся с М. А. ...Так же просто пел Иван Михайлович Москвин, но все равно, у А. И. получалось лучше... Вспоминается жадно и много курящая Наталия Алексеевна Венкстерн... Слушали внимательно, юмор схватывали на лету. Читал М. А. блестяще, выразительно, но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно — только глаза смеялись...»

Как видим, Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна Булгаковы стали бывать в кругу людей, близких им по творческим интересам.

В статье «Пушкин — наш товарищ» Андрей Платонов писал о Пушкине как об идеале художника, который своим «творческим, универсальным, оптимистическим разумом» преодолевал все беды и лишения. Всю жизнь Пушкин ходил «по тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя накануне крепости и каторги. И все-таки над врагом своим Пушкин смеялся, «удивлялся его безумию, потешался над его усилиями затомить народную жизнь или устроить ее впустую, безрезультатно, без исторического итога и эффекта. Зверство всегда имеет элемент комического, но иногда бывает, что зверскую, атакующую, регрессивную силу нельзя победить враз и в лоб, как нельзя победить землетрясение, если просто не переждать его» (Литературный критик, 1937. № 1). И еще одно качество художника с большой любовью отмечает Платонов в Пушкине — в своем издевательстве над персонажами из верхних слоев общества, в своем сатирическом отрицании художник «универсального творческого сознания» нес и утверждение. Вот идеал художника, который, несмотря на все препятствия, возникавшие на его пути, оставался верным своему философскому отношению к действительности.

Сразу после революции еще сохранялись условия для расцвета художественного таланта. Во время страшного, фантастического бумажного голода печатались художники разных направлений: Горький и Вересаев, Замятин и Федор Сологуб, Василий Камен-

ский и Алексей Ремизов, Борис Зайцев и Фадеев, Маяковский и Фурманов...

В этом пестром литературном потоке можно найти и рассказ о созидательной стороне революционных преобразований, о большевике, строителе, борце, и повествование о тех недостатках, которые проявлялись в быту нового мира. Позитивное и сатирическое в художественном освоении мира было неразделимо на первых порах. Потом сатирическое стало уходить из литературы. А. Воронский писал, что «у нас действительно есть боязнь коснуться язв советского быта, против чего всемерно следует бороться».

Больше всех, пожалуй, пострадал за свои сатирические произведения Михаил Булгаков, хотя он и не был «чистым сатириком». В Булгакове редчайшим образом соединились обе струи, оба этих начала художественного таланта. Он не только испытывал острую ненависть ко всему, что носило хотя бы малейшие черты дикости и фальши, но одновременно с этим — боролся за утверждение высоких нравственных ценностей, за победу в человеке благородного и разумного.

Характерно, что Булгаков и работал-то почти одновременно над столь разными вещами. В письме к Ю. Слезкинну он писал: «Дьяволиаду» я кончил, но вряд ли она где-нибудь пройдет. Лежнев отказался ее взять. Роман я кончил, но он еще не переписан, лежит грудой, над которой я много думаю. Кой-что исправляю». Булгаков относился к тем художникам, в которых глубоко и полно воплощается картина поразительного равновесия жизненных сил, в его вещах найдена та пропорция света и тени, отрицательного и положительного, в поисках которой сбились с ног не один десяток талантливых людей.

Вслед за Горьким и Маяковским к середине 20-х годов острые сатирические произведения создали Алексей Толстой («Ибикус» и пр.), Леонид Леонов («Записки А. П. Ковякина»), Вячеслав Шишков («Шутейные рассказы»), Вс. Иванов («Особняк»), затем во второй половине 20-х годов появляются «Город Градов» и «Усомнившийся Макар» Андрея Платонова, «Баня» и «Клоп» Маяковского и др.

Одним из первых создал свои сатирические произведения Михаил Булгаков.

В «Дьяволиаде», «Записках на манжетах», «Похождениях Чичикова», «Роковых яйцах» Булгаков средствами сатиры создал фантастический мир, полный противоречий, больших и малых конфликтов, возникающих всякий раз, когда человек оказывается

не на своем месте, а думает, что на своем. Вот из этого противоречия и возникает фантастика действительности. А одновременно с этим в его «Белой гвардии», «Мольере», «Пушкине», «Дон Кихоте», «Театральном романе» воссоздан другой человеческий мир, с его нравственными исканиями, в его утверждении человечности в жизни человеческой, опутанной многими искусственными путями. В «Мастере и Маргарите» эти два мира, как бы до сей поры существовавшие отдельно, слились в один, полномерный и многогранный.

Не всем удавалось воплощать эти разнородные художественные миры в своих произведениях. Гоголь, больной, издерганный, измученный психически-душевым неустройством, сделал попытку во второй книге «Мертвых душ» вырваться из созданного им самим мира отрицательных явлений, но потерпел художественную неудачу именно вследствие неспособности органического соединения положительного и отрицательного в своем мышлении и чувствовании.

Редким талантом обладал Михаил Булгаков, талантом гармонического мирозосерцания, где в полном равновесии «уживаются» и отрицательное, и положительное... Тем более нелепо ставить знак равенства между отрицательными героями и самим автором. А ведь именно такие нежесткие утверждения и сыграли роковую роль в оценке булгаковской сатиры. Многие из критиков Булгакова усматривали в его творчестве стремление развенчать советский строй, обогатить людей, строящих новое общество. Произошел разрыв в понимании определенных эстетических категорий. Различные люди, занимающиеся литературой, по-разному стали понимать и, естественно, трактовать проблемы гуманизма, сатиры, сознательного и бессознательного в человеке...

Как будто художник, обличающий средствами сатиры отрицательное в нашей жизни, лишен устремлений к добру и свету! Он потому и направляет разящий меч смеха, иронии, сарказма против отрицательных явлений, что хочет искоренить их, хочет привлечь на борьбу с отрицательным все силы общества. Тем более что усилия художника-сатирика нисколько не расходились с интересами общества. Ведь в решении партийных съездов, в циркуляре ЦК РКП(б) «О периодической печати», в программных выступлениях вновь организованных газет говорилось, что в целях охраны интересов республики необходимо решительно развивать критику «недочетов» и отрицательных сторон работы наших учреждений и должностных лиц» (О партийной и советской печати: Сборник документов. М., 1954. с. 244. См. также с. 219, 212 и др.). «Здоровая не-

безответственная критика наших непорядков, где бы они ни происходили — в народном комиссариате, в главке, в центре, в профсоюзе или за станком рабочего, — основная задача нашей газеты» — так говорилось в передовой статье первого номера газеты «Труд» (там же. с. 183).

А вот Л. Авербах в «Известиях» (20 сентября 1925 года) в рецензии на сборник «Дьяволиада» («Недра», 1925) писал: «Булгаковы появляться будут неизбежно, ибо нэпманству на потребу злая сатира на советскую страну, откровенное издевательство над ней, прямая враждебность. Но неужели Булгаковы будут и дальше находить наши приветливые издательства и встречать благосклонность Главлита?» «Тема эта — удручающая бессмыслица, путаность и никчемность советского быта, хаос, рождающийся из коммунистических попыток строить новое общество» — так истолковывал Л. Авербах «Дьяволиаду».

Откровенно искажая авторский замысел, Авербах в таком же стиле истолковывает и «Похождения Чичикова»: «Компания гоголевских типов въезжает в Советскую Россию. И что она тут ни делает! А Булгаков радуется: вот кто только и может разгуляться на советской земле. На ней место и приволье Чичиковым, а я, писатель, даже Гоголя на толкучке принужден распродавать». И тут же предупреждает: «...Рассказы Булгакова должны нас заставить тревожно насторожиться. Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета... наши издательства должны быть настороже, а Главлит — тем паче!..»

Авербах, к сожалению, был не одинок. Г. Лелевич, перечисляя «несколько литературных вылазок, выражающих настроения «новой буржуазии», прежде всего называет повести Булгакова. Именно эти повести, по его мнению, являются наиболее характерными примерами этого «ново-буржуазного литературного выступления».

Проблема сатиры — проблема политическая. Писатель должен ясно себе представлять, во имя чего он критикует, во имя чего отрицает. Тот же Булгаков, вскрывая пороки общества со всей остротой, подмечая недостатки в строительстве новой жизни после революции, ясно видит, как быстрее избавить общество от пороков и недостатков, как найти самые короткие пути, ведущие к торжеству справедливости и правды.

Вокруг сатирических произведений Булгакова нередко возникали горячие споры. Очень характерна в этом отношении полемика Горького с Gladковым. Высокая оценка Горьким, с одной стороны, и отрицательное мнение Gladкова о сатире Булгакова, с дру-

гой, — не являлись выражением только личных мнений этих двух писателей. За их суждениями скрывались два различных отношения к сатире вообще.

Горький, например, много внимания уделял творчеству Михаила Зощенко, видя его богатейшие возможности сатирика и юмориста, на первых порах поддерживал В. Каверина. В письме к Слонимскому от 31 марта 1925 года Горький писал: «Вы несколько робеете пред вашим материалом и, хорошо чувствуя иррациональное в реальном, в фактах, — не решаетесь обнаружить это ирреальное, полуфантастическое, дьявольски русское во всей его полноте. Зощенко — смелее вас и этим — хорош. Его рассказ («Страшная ночь». — В. П.) и заставляет ждать очень «больших» книг от Зощенко. В его «юморе» больше иронии, чем юмора, а ирония жизненно необходима нам» (с. 387). Тому же В. Каверину он высказывает мысль, что «мы достаточно умны для того, чтобы жить лучше, чем живем, и достаточно много страдали, чтобы иметь право смеяться над собой», «дружески посмеяться над людьми и над хаосом, устроенным ими на том месте, где давно бы пора ждать легкой и веселой жизни». Горький видел много недостатков, советовал В. Каверину «перенестись» из области и стран неведомых в русский, современный, достаточно фантастический быт (с. 192), подсказывает ему превосходные темы. Горький видел воровство, невежество, хулиганство, видел и призывал писать об этом. Напротив, Гладков видел в сатирических произведениях клевету на рабочий класс, «блевотину», которую сатирики «изрыгают» на новую жизнь. Гладков согласен с Горьким: в его словах «много горькой правды о мерзостях нашей жизни». Но Гладкову кажется, что Горький слишком сгущает краски и обобщает факты: «Все эти гнусности, как чванство, растраты, пьянство, насилия, избиения врачей», — явления, не характерные «для всего рабочего класса в целом». Это всего лишь «уродливые проявления нашего ветхого еще быта» (с. 88). Горький за то, чтобы подвергать острой критике уродливые проявления быта, а Гладков, в сущности, против того, чтобы обращалось внимание на эти явления, так как они не характерны для рабочего класса в целом. Разное понимание типического приводило художников к различному пониманию задач художественной литературы. В. Блом писал: «М. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи» (Книгоноша. 1925. № 6). Против такой постановки вопроса резко возражал сам М. Булгаков: «Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в плюсквамперфектум. М. Булгаков стал сатириком...» Далее М. Булгаков выражает недоумение относительно того, что сатирик в современной

критике рассматривается как человек, враждебно настроенный к советской власти: «Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершеннейшей ясностью в статье В. Блюма, и смысл этой статьи блестяще и точно укладывается в одну формулу: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй...»¹.

«Бешено травить все негодное» — призывал В. И. Ленин. Объективно сатира Булгакова была направлена на перевоспитание и исправление этого негодного. И это было самым главным в России. А Россию Булгаков любил, и как художник, и как гражданин был ей беспредельно предан.

Вовлечение простых рабочих, служащих в управление государством — факт положительный, событие грандиозного, исторического значения. В. И. Ленин писал по этому поводу много. Но видел в этом явлении, как и в других явлениях, которых он касался, и вполне возможные издержки. На III Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин говорил, что «отныне простой мужик будет командовать. Это будет стоить многих трудностей, жертв и ошибок, это дело новое, невиданное в истории, которое нельзя прочитать в книжках» (т. 26, с. 417). Ленин не устал повторять, что в первые годы революции нам удалось только сломать прежнюю государственную машину, строительство нового государственного аппарата требует длительного времени. А дело не ждет. Приходилось использовать то, что осталось в наследство от царского госаппарата. Отсюда острая критика В. И. Лениным госаппарата. В 1922 году Ленин писал о волокитстве, бюрократизме и о бумажном засилье: «У нас имеются громадные материалы, солидные труды, которые бы привели в восторг самого пунктуального, ученого немца, у нас имеются горы бумаги, и нужно 50 лет работы Истпарта, умноженных на 50, чтобы во всем этом разобраться, а практически в гос-тресте вы ничего не добьетесь и не узнаете, кто за что отвечает» (Полн. собр. соч., т. 45, с. 14—15).

Об этом же говорится и в речи на съезде политпросветов и в других выступлениях В. И. Ленина. В следующем году он писал: «Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны, что мы должны сначала подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его, памятуя, что эти

¹ См.: Л я н д р е с С. Русский писатель не может жить без Родины... (Материалы к творческой биографии М. Булгакова) // Вопр. лит. 1966. № 9. С. 138.

недостатки коренятся в прошлом, которое хотя перевернуто, но не изжито» (Полн. собр. соч., т. 45, с. 390).

Шло время. Утверждался новый строй, а прототипы булгаковских героев перерождались с мучительной медлительностью. Вот выдержка из передовой статьи «Известий» за 7 октября 1925 года:

«Каждый день, печатно и устно, мы бичуем бюрократизм нашего государственного аппарата. Он проявляется в самых разнообразных формах. Подчас он совершенно искажает выполнение тех или иных директив». Вся беда в том, что «новый госаппарат должен был строиться из старого человеческого материала», и этот «материал» давал богатую пищу для новой сатиры.

Ошибки работников советской власти возникали как результат неумения, недостатка знаний, гибкости при резких переходах от одного этапа к другому в политическом развитии страны. В. И. Ленин, резко критикуя бюрократизм, оставшийся как тяжкое наследство старого общества, предупреждал, что бюрократы ловко приспособляются к новой обстановке и потому особенно опасны. В политическом отношении развитие народа в массе своей опережало его культурное и духовное развитие. Чтобы управлять, надо выработать в себе навыки управления, надо быть духовно зрелым, нравственно готовым к осуществлению государственных функций. Только в том случае, когда политическая зрелость воедино сливалась со зрелостью нравственно-духовной, к власти не допускались люди типа Кальсонера. Но нередко встречалось, что к власти приходили люди типа Кальсонера, нравственно и духовно неразвитые, грубые, малокультурные. М. Булгаков зорко видел противоречия своего времени, видел и со свойственной ему остротой и глубиной раскрывал их перед своими современниками.

Хорошо, что в современной русской литературе существовали не только такие, как Авербах, Лелевич, Гладков и другие «рапповски» настроенные критики и писатели. Еще крепко стояли во главе журналов, альманахов и издательств такие, как Клеостов-Ангарский, А. К. Воронский, А. М. Горький постоянно давал «указания» из своего итальянского «далека». И возникало некое равновесие, наподобие тому, которое возникло, допустим, во МХАТе: Луначарский считает, что пьеса «Белая гвардия» «бездарна», хотя с политической точки зрения и не вредная, а Станиславский и весь Театр «горой» встал на защиту автора и его сочинения, настолько показалась им интересной, глубокой, по-современному заободневно звучащей.

«У нас много наивного, нелепого, непродуманного прожектерства, планов и замыслов, которые терпят сокрушительные крахи

при первой же серьезной практической проверке их, — писал А. Воронский в обзорной статье «Писатель, книга, читатель» (Художественная проза за истекший год). — У нас немало фантазеров, мечтателей, дон Кихотов, ушибленных деловым, культурническим временем, не умевших приспособиться к новой сложной будничной обстановке. Ничего нельзя возразить, если писатель показывает нам и это прожектерство, и этих романтиков и стремится дать широкне художественные обобщения. Такова, например, повесть А. Толстого «Голубые города», сюда относятся «Роковые яйца» Булгакова... «Роковые яйца» Булгакова — вещь чрезвычайно талантливая и острая — вызвала ряд ожесточенных нападок. Надо сказать, что для критических выпадов были серьезные основания. Писатель написал памфлет о том, как из хорошей идеи получается отвратительная чепуха, когда эта идея попадает в голову отважному, но невежественному человеку. Это — законное право писателя. Почему бы в самом деле не написать об этом художественный памфлет? Основной недостаток Булгакова тот, что он не знает, во имя чего нужны такие памфлеты, куда нужно звать читателя...» (А. Воронский. Минстер Бритлинг пьет чашу до дна. Артель писателей «Круг», 1927, с. 141—142).

Вряд ли можно согласиться даже с таким умным, как Воронский.

Булгаков хорошо знал, куда звать читателя как в «Роковых яйцах», так и в «Собачем сердце».

Вспомним, в январе — марте 1925 года М. Булгаков работал над повестью, издатель Клестов-Ангарский торопил его с окончанием. Но попытки издать повесть там же, где были изданы «Дьяволиада» и «Роковые яйца», не увенчались, как говорится, успехом. Булгаков читал повесть друзьям, знакомым, и слух о ней разошелся по всей Москве. Скорее всего, поэтому повесть изъяли у Булгакова, как об этом рассказывала Любовь Евгеньевна Белозерская.

В это время в печати много говорилось о работах русских и европейских биологов в области «омоложения». И Булгаков, постоянно вращаясь в кругу медиков, не мог не знать сборник статей Н. К. Кольцова «Омоложение», в котором высказаны многие догадки, гипотезы, доказательные выводы.

И главный герой повести профессор Филипп Филиппович Преображенский занимается именно этими проблемами — омоложением, улучшением человеческой породы. В этой области нет ему равных не только в России, но и в Европе. Попасть к нему на прием непросто, подолгу стоят в очереди. Казалось бы, живи в свое удовольствие, у него есть все: высокий авторитет, богатство, ученики.

Но профессор обладает неукротимым характером ученого-экспериментатора, ему хочется проникнуть в тайны человеческого организма еще глубже, и он приживляет дворняжке Шарiku семенные железы человека, а потом и придаток мозга. «...Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, оглянулся и уже спокойнее спросил.

— Умер, конечно?

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь...»

Но пес после такой операции не издох. Из дневника доктора Борменталья видно, что такая операция произведена впервые, а то, что произошло в дальнейшем, вообще фантастично. За несколько дней кости Шарика выросли, вес прибавился почти в четыре раза, Шарик стал произносить членораздельные звуки, а потом говорить. На глазах изумленных экспериментаторов собака стала превращаться в человека. Его пришлось одеть, посадить за общий стол, потом он на какое-то время стал покидать квартиру профессора и приходить с новыми «идеями»: в домкоме он узнал, что он имеет право на документы, на жилплощадь в квартире профессора, потом он устроился на работу, задумал жениться, привел в квартиру профессора невесту, которой сказал, что рана на лбу — это рана, полученная им на фронте. Стал пить, грубить... Словом, в нем проявились все отрицательные качества того человека, от которого взяли гипофиз и семенные железы... Профессор понял свою ошибку, но было уже поздно — на его глазах формировался человек со всеми негодяйскими замашками и привычками, которые были присущи погибшему человеку: Клим имел две судимости, алкоголизм, был хам и свинья... «Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо... Это в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался...» — горько переживает свою ошибку профессор. Получился не лабораторный человек, которого можно было держать под человеческим контролем, а человек с собачьим сердцем, этакий жестокий негодяй. И профессор с верным Борменталем проделывает еще одну операцию — вновь собаке возвращают все собачье. Конечно, к профессору приходит комиссия, но ничего не может доказать, перед ними бегают Шарик, правда, пока держится на двух ногах и говорит кое-какие фразы, но профессор убедительно высказал мысль. «Наука еще не

знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм».

И вообще профессор хотел совершить совсем другое: «Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение (подчеркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше, — так определяет результат содеянного верный ученик профессора Борменталь в своих записках. — Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу... прижившийся гипофиз открыл центр речи в собаьем мозгу, и слова хлынули потоком...»

Доктор Борменталь выразил надежду «развить Шарика в очень высокую психическую личность», но профессор зловеще при этом хмыкнул. И вскоре выяснилось почему. Гипофиз принадлежал скверному человеку, это-то и предопределило гнусное поведение лабораторного существа, потребовавшего вскоре называть его Полиграфом Полиграфовичем Шариковым.

Может быть, поведение Шарикова и не было бы таким вызывающим, если бы он не оказался под влиянием председателя домкома Швондера, человека в кожаной куртке и с копной «густейших вьющихся волос» в четверть аршина, человека, повседневно внушавшего ему ненависть к своему создателю профессору Преображенскому. Швондер воспользовался чудовищными слухами, которые распространялись вокруг уникальной операции Шарика, и написал статью в газету с целью опорочить чистые помыслы ученого и представить его в черном свете перед лицом общественности: «Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдочуждая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом». Профессору, прочитавшему эту статью, совершенно ясен был псевдоним: Шв...р. Ясно было и то, что война между ними началась. Прямая атака Швондера на профессора, не пожелавшего уступить две комнаты из своих семи, не удалась.

И председатель домкома начал клеветническую кампанию, авось, что-нибудь получится. Швондер внушил Шарикову ненависть к своему создателю профессору Преображенскому, внушил, что он, Шариков, «трудовой элемент», а посему имеет все права на жилье, на труд, на семью. Шариков уже начинает разговаривать с профессором несколько пренебрежительно и свысока. Профессор опасается, что он вскоре будет учить его самого, как жить и работать, — столько наглости слышится в голосе этого «лабораторного существа», воспитанного председателем домкома. Напичканный социальной демагогией Швондера и его учителей, Шариков прямо заявил профессору, что нужно «взять все, да и поделить». «А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет».

И, наконец, явно под диктовку Швондера Шариков сочинил донос на профессора «...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего отделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

Хорошо, что этот донос попал к военному человеку высокого ранга, пациенту профессора, который во всем разобрался, понял, что это все «явная ерунда», что писавший донос — прохвост и дрянь. Но ведь все могло произойти по-другому. И сколько было оклеветано таким вот образом еще в середине 20-х годов... И после этого доноса профессор надеялся расстаться мирно с этим прохвостом. Но Шариков на его предложение убираться из квартиры повел себя настолько агрессивно («Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер...»), что в тот же миг созрело решение вернуть его обратно в собачье состояние: не может такой негодяй жить среди людей и отравлять им существование.

Одна из жгучих проблем того времени — проблема ценности человеческой личности. Чаще всего социальные демагоги сводили вопрос к внешним «показателям»: если рабочий, то «наш»; если из дворян или буржуев, то враг, «чуждый элемент», который не имеет права на революционные завоевания, в сущности, не имеет вообще

никаких прав, «лишенец». Антагонизм враждующих сторон, вполне закономерный в годы революции и гражданской войны, ловко раздувался и подогревался и после революционных событий, когда В. И. Ленин призвал все слои населения России к сотрудничеству с советской властью. Булгаков и показал такой антагонизм между Преображенским и Борменталем, с одной стороны, и Швондером и членами домкома, с другой. Пока победу одержал Преображенский, его талант, его гений. И Булгаков вместе со своими героями торжествует эту победу.

Судьба сатирических произведений Михаила Булгакова очень заинтересовала меня. Естественно, я стал расспрашивать Любовь Евгеньевну, как только мы вновь увиделись, о том, как они создавались, — ведь все происходило на ее глазах и при ее посильном участии.

— Сейчас многие говорят о богатом воображении Булгакова художника. Это правильно. Но и его богатое воображение всегда опиралось на какие-то реальные факты действительности. Видимо, мало кто знает, что даже самые фантастические фигуры ученых из повестей его имеют своих реальных прототипов. Помните Персикова из повести «Роковые яйца»? Профессор работает в лаборатории, и руки его необыкновенно умело обращаются с микроскопом. Это потому получилось так правдиво, что руки самого Михаила Афанасьевича умели по-настоящему обращаться с микроскопом. И в сцене операции в «Собачем сердце» чувствуется, что автор много знает и многое умеет. А читатель весьма высоко ценит эту писательскую осведомленность. Но собственного опыта ему было мало для создания этих залпом написанных повестей. Проблема творческого гения человека, могуществу познания, торжеству интеллекта — вот чему посвящены фантастические повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце», а несколько позже и пьеса «Адам и Ева». Персиков открывает неведомый до него луч, стимулирующий размножение, рост и необыкновенную жизнестойкость живых организмов. По словам его ассистента, он открыл что-то неслыханное, открыл луч жизни, герои Уэллса по сравнению с ним просто вздор. И не вина Персикова, что по ошибке невежд и бюрократов произошла катастрофа, повлекшая за собой неисчислимое количество жертв, гибель изобретения и самого изобретателя. Все это он, конечно, выдумал, но, описывая наружность и некоторые повадки профессора Персикова, Михаил Афанасьевич отталкивался от образа живого человека, моего родственника, о котором я уже говорила вам: Евгений Никитич Тарновский тоже был профессором, но в области, далекой от зоологии: он был статистик-криминалист.

О его общей эрудиции я уже говорила. Ученый же в повести «Собачье сердце» — профессор-хирург Филипп Филиппович Преображенский, прообразом которого послужил дядя Михаила Афанасьевича — Николай Михайлович Покровский, родной брат матери писателя, Варвары Михайловны, так трогательно названной «Светлой королевой» в романе «Белая гвардия». Так вот, Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог, в прошлом ассистент знаменитого профессора Снегирева, жил на углу Пречистенки и Обухова переулка, за несколько домов от нашей «голубятни». Здесь же жил другой дядя Михаила Афанасьевича — милейший Михаил Михайлович, врач-терапевт... Кстати, брат Николай Афанасьевич тоже стал знаменитым врачом. Михаил Афанасьевич хорошо знал жизнь и характеры своих близких, особенно его интересовал как личность Николай Михайлович Покровский, вспыльчивый, непокладистый, но добрый и отходчивый. Он так и не узнал, что послужил прообразом гениального хирурга Преображенского, превратившего собаку в человека, сделав ей операцию на головном мозгу. Помните, ученый ошибся: он не учел законов наследственности и, пересаживая собаке гипофиз умершего человека, привил ей все пороки покойного... Из хорошего пса получился дрянной человек! И тогда хирург решается превратить созданного им человека опять в собаку. Операция описана просто потрясающе, не правда ли... А кстати, вы читали эту повесть?

— Конечно, пожалуй, эта повесть одна из лучших его сатирических произведений... Пожалуй, самые прекрасные страницы, когда бедный Борменталь всю ночь за коньяком уговаривал профессора сделать вторую операцию, с тем чтобы вернуть Шарикова, ставшего вором и пьяницей, в его первоначальное состояние дворового пса... И как переживает великий ученый, который пять лет сидел, «выковыривая придатки из мозгов», проделал огромную работу. «И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают...» Не ручаюсь за подлинность слов Преображенского, но смысл их таков...

Да, Преображенский сделал великое открытие, но кому оно нужно?

Здесь Любовь Евгеньевна встала, взяла книжку и стала читать.

— «...Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ошупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да, — рявкнул Филипп Филиппович. — Да. Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я — Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни, можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого...»

— Да, какое богатое воображение было у Михаила Афанасьевича... Как достоверно и вместе с тем фантастично все, что происходит в повести... Да и во всех его самых фантастических повестях... — Я тут же замолчал, как только почувствовал: так надо...

— Да, все об этом говорят... Это правильно... Но и богатое воображение всегда опирается на какие-то реальные факты действительности. Видимо, мало кто знает, что многие фигуры в произведениях Булгакова имеют своих реальных прототипов. Помните Аннушку и Алоизия из «Мастера». Даже они взяты из жизни. Конечно, в романе они совсем другие, чем в жизни. Но это уж другое дело. Во всех произведениях чувствуется, что автор многое знает и многое умеет. Описывая наружность и некоторые повадки своих персонажей, Михаил Афанасьевич отталкивался от образа живого человека. Но Булгакову и не нужно сходства, ему всегда нужен был толчок для воображения...

— Очень интересны в этом отношении поиски Левшиным квартиры, где проживал Булгаков в первые годы. Вы не читали его воспоминания «Садовая, 302-бис»? — спросил я.

— Нет, не читала. А что там?

— Это воспоминания о Булгакове, о первых его шагах в Москве. Опубликованы в журнале «Театр» в ноябре 1971 года. Автор тоже там отмечает, что творчество Булгакова питалось самыми что ни на есть реальными деталями и подробностями, выхваченными из жизни.

— Расскажите, расскажите...

— Во многих произведениях Булгакова фигурирует дом, в котором чаще всего происходит действие и где проживают большинство его персонажей. Помните, конечно, и квартиру под номером пятьдесят, где поселился Воланд со своей компанией. Так вот, Левшин довольно убедительно доказывает, что эта квартира была вполне реальной и помещалась в доме номер десять по Садовому

кольцу, недалеко от нынешнего Театра сатиры и сада «Аквариум». И даже примус, с которым почти не расставался Бегемот, реально, так сказать, существовал и принадлежал матери Левшина. И даже небольшой рассказ «Псалом» с его маленьким героем Славкой тоже чуть ли не списан с натуры: Славка и его мать были, оказывается, соседями Булгакова, и этот Славка частенько заходил к Михаилу Афанасьевичу, и тот угощал его чаем и конфетами...

— Совершенно верно, — перебила меня Любовь Евгеньевна. — Но только его не Славкой звали, а Витькой. И жил он рядом с нами, а не в пятидесятой квартире десятого дома, как утверждает Левшин¹. Я уже упоминала наш флигелек по Чистому переулку. На соседнем доме и сейчас красуется мемориальная доска: «Выдающийся русский композитор Сергей Иванович Тансев и видный ученый и общественный деятель Владимир Иванович в этом доме жили и работали». До чего же невзрачные жилища выбирали себе знаменитые люди прошлого... Так вот, по соседству живем мы на своей «голубятне», на втором этаже такого же невзрачного особняка. Весь верх разделен на три отсека: два по фасаду, один в стороне. Посередине — коридор, в углу коридора — плита. На ней готовят, она же обогревает нашу комнату. В одной клетушке живет Анна Александровна, пожилая, когда-то красивая женщина. Девичья фамилия ее старинная, воспетая Пушкиным. Она вдова. Это совершенно выбитое из колеи, беспомощное существо, к тому же страдающее астмой. Она живет с дочкой; двоих мальчиков разобрали добрые люди. В другой клетушке обитает простая женщина Марья Власьевна. Она торгует кофе и пирожками на Сухаревке. Обе женщины люто ненавидят друг друга. Мы — буфер между двумя враждующими сторонами. Утром, пока Марья Власьевна водружает на шею сложное металлическое сооружение, из отсека Анны Александровны слышится трагический шепот: «У меня опять пропала серебряная ложка». — «А ты клади на место, вот ничего пропадать и не будет», — уже на ходу басом парирует Марья Власьевна. Мы молчим. Я жалею Анну Александровну, но люблю больше Марью Власьевну. Она умнее и сердечнее. Потом, мне нравится, что у нее под руками все спорится. Иногда дочь ее Татьяна, живущая поблизости, подкидывает своего четырехлетнего сына Витьку. Бабка обожает этого довольно противного мальчишку. Он частенько капризничал, хныкал. И когда плаксивые вопли Витьки чересчур

¹ В отделе рукописей ГБЛ хранится письмо в редакцию «Театра», в котором Л. Е. Б. резко отзывался о воспоминаниях Левшина.

надоедали, мы брали его к себе в комнату: Михаил Афанасьевич очень любил детей и умел с ними ладить, особенно с мальчиками. Сажали этого Витьку на ножную скамеечку. И он полностью переходил на руки Михаила Афанасьевича, который показывал ему фокусы. Как сейчас слышу его голос: «Вот коробочка на столе. Вот коробочка перед тобой... Раз! Два! Три! Где коробочка?» Вспоминаю начало булгаковского наброска с натуры: «Вечер. Кран: кап... кап... кап... Витька (скулит). Марья Власьевна... М. Вл. Сейчас, сейчас, батюшка. Сейчас иду, Иисус Христос...» Возможно, и там был такой же персонаж, но я совершенно уверена, что «Псалом» написан о нашем Витьке... Помните, Михаил Афанасьевич рассказывает Витьке сказку. Так вот эту сказку и я слышала...

Любовь Евгеньевна взяла небольшой томик Булгакова и начала читать:

— «...Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть... Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика — Славка.

— Угу... Как меня?

— Довольно красивый, но был, к величайшему сожалению, — драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из восьмого номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

— Она сама дерется...

— Погоди. Это не о тебе речь идет.

— Другой Славка?

— Совершенно другой. На чем, бишь, я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять...» Как сейчас слышу интонации Михаила Афанасьевича, своего Мака, как я его называла тогда. Необыкновенный был фантазер, любил розыгрыш, представления, а как любил он театр, если бы вы знали...

— Говорят, что он в молодости мечтал стать оперным артистом, собирал портреты оперных знаменитостей?..

— Да, он часто вспоминал об этом. Любил играть на рояле. Десятки раз бывал на «Фаусте». И всегда он что-то напевал про себя, что-то мурлыкал, даже когда писал. Вообще он мало походил на писателя в общепринятом смысле, больше на Шаляпина, о чем я

уже говорила вам. Сначала он как бы разыгрывал сцены, а потом уже записывал. Да об этом многие вспоминают, а я это видела...

— Кстати, Любовь Евгеньевна, Левшин в воспоминаниях тоже об этом пишет. Рассказывает, как однажды Булгаков разговаривал по телефону с одним из издательских работников, выпрашивая у него аванс под не оконченную еще повесть. И так убедительно разыграл эту сцену, что тот издатель поверил ему и велел приезжать за деньгами...

— Да, вероятно, он имеет в виду издателя Ангарского Николая Семеновича, искренне заинтересовавшегося творчеством Михаила Афанасьевича и по-настоящему его поддерживавшего. Ангарский, старый большевик, много лет проведенный в ссылках, человек высокой честности, пользовался большим уважением. А я, по правде говоря, побаивалась его. Уж очень много говорилось тогда о его нетерпимости и резком характере. Да и внешность у него была довольно подходящая для этой репутации: высокий человек с рыжей мефистофельской бородкой. Но литературу он любил по-настоящему. Михаил Афанасьевич по телефону мог ему рассказать конец повести, как будто читал его по рукописи. Это действительно бывало и на моих глазах...

— А как все-таки Михаил Афанасьевич начал работать для театра? Какой-то был, видимо, толчок...

— Просто однажды на «голубятне» появились двое: актер Василий Куза и режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Они предложили Михаилу Афанасьевичу написать комедию для Вахтанговского театра. Он согласился. И вот как-то, просматривая отдел происшествий в вечерней «Красной газете», Михаил Афанасьевич натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действовавший под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Так возникла отправная идея комедии «Зойкина квартира». Все остальное в пьесе — интрига, типы, ситуация — чистая фантазия автора, в которой с большим блеском проявились его талант и органическое чувство сцены. Пьеса была поставлена Поповым 28 октября 1926 года... Два года пьеса шла с огромным успехом... Но в это же время на Булгакова посыпались критические удары чуть ли не со всех сторон. Особенно неистовствовали рапповцы... Да вы, конечно, знаете об этом...

Да, я знал об этом.

«Собачье сердце» — третий том Сочинений Булгакова — собрании ранних произведений М. А. Булгакова, куда вошли все из-

вестные его рассказы, фельетоны, очерки, повести, написанные в 1925 — 1927 годах. Естественно, сюда вошли и те вещи, которые были написаны в то время, но опубликованы лишь в наше.

Конечно же, сюда вошли и те произведения, которые подготовила для публикации Е. С. Булгакова, и хранящиеся теперь в ОР РГБ (см. ф. 562, к. 1 и 2).

В этот том вошло и «Собачье сердце», впервые напечатанное в журнале «Знамя» в шестом номере за 1987 год, но в списках ходившее по рукам очень давно. Один из таких списков я и принес однажды Е. С. Булгаковой, сказавшей: «Ничего не читайте, что ходит по рукам: много искажений». Так оно и получилось с изданием в «Знамени», а потом и во многих книжных изданиях, в том числе в изданиях «Художественная литература», «Советский писатель» и др.

Подлинным текстом «Собачьего сердца» сотрудники ОР РГБ считают текст, переданный для публикации в «Недра», где были напечатаны «Дьяволиада» и «Роковые яйца», и хранящийся в фонде Н. С. Клестова-Ангарского (ф. 9, к. 3, ед. хр. 214). И действительно, стоит сравнить этот текст с общеизвестным по многочисленным публикациям, как сразу заметишь существенную разницу.

В первой главе обнаружено 66 искажений, во второй — 68, в третьей — 88. Дотошные текстологи более точно подсчитают эти искажения и прокомментируют эти тексты. Здесь же мне хотелось бы обратить внимание читателей лишь на некоторые различия в текстах, меняющие порой даже смысл произведения.

Сначала вроде бы мелочи: «О, гляньте, гляньте на меня, я погибая», подчеркнутого «гляньте» нет в общеизвестном тексте. Затем: «Вьюга в подворотне ревет мне отходную», а надо: «поет мне отходную», не просто «плеснул кипятком», а «плеснул в меня кипятком»; отсутствует фраза: «И если бы не гримза какая-то, что пост на лугу при луне — «милая Анда» — так что сердце падает, было бы отлично». В общеизвестном тексте читаем: «Все испытал, с судьбой своей мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что и дух мой еще не угас. Живуч собачий дух». А в подлинном тексте совсем другой смысл «собачьего монолога»: «Все испытал, с судьбою своею мирюсь, и плачу сейчас не только от физической боли и холода, а потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух!» Оказывается, «Угасает собачий дух!», а не «Живуч собачий дух».

Перед тем как столкнуться с профессором, Шарик размышляет: «Куда пойду? У-у-у-у-у!» В подлинном же тексте читаем: «Куда

пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у...»

Пропускаю десятки «мелочей»: не Саблин, а Шаблин, не братья Голубизнеры, а братья Голубы и др. (см. ф. 9, с. 20 и 9).

Но вот уже посущественнее... Помните, уважасмые читатели, Швондер, поговорив по телефону со значительным лицом, кладет трубку, и в разговор вмешивается женщина, «волнуясь и загораясь румянцем», которая готова была доказать этому лицу, Петру Александровичу, что необходимо у профессора отобрать две комнаты. «Глаза женщины загорелись», а надо «сверкнули» (см. с. 23). Но это опять же «мелочи». А вот уже кое-что совсем другое... Помните, эта женщина предлагает профессору «взять несколько журналов в пользу детей Германии». Профессор отказывается взять эти журналы:

«Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина открылась клюквенным налетом:

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую (так в общеизвестном тексте. «Равнодушен к ним» — так в подлиннике).

— Жалсете по полтиннику? (А нужно: «Жалсете отдать полтинник?»).

... — Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина» (а следует читать: «горячо сказала женщина») (см. ф. 9, с. 24).

Или вот еще: «Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь», а в подлиннике: «статистика — жестокая вещь», и совсем другой возникает смысл разговора. Или еще: «...отпер парадную дверь», а нужно: «переднюю дверь»...

Много искажений в записях доктора Борменталья, в латинских терминах, в профессиональных словах: «...в перерыве зрительных нервов собаки», а в подлиннике: «...в перекрестье зрительных нервов собаки».

Или: «Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку...», а в подлиннике просто: «Шариков выплеснул водку в глотку...»

Или: «...А почему не теперь?» В подлиннике: « — А почему же теперь?»

Словом, разночтений в публикуемых текстах множество, и предстоит кропотливая текстологическая работа: увы, пока канонических текстов нет.

«Собачье сердце» публикуется по рукописи, хранящейся в ОР РГБ, в фонде Ангарского, который на рукописи начертал: «Нельзя печатать».

Это издание стало возможным благодаря Светлане Викторовне Кузьминой и Вадиму Павловичу Низову, молодым и талантливым руководителям Замоскворецкого филиала ФИНИСТ БАНКА, благодаря директору производственно-коммерческого предприятия «РЕГИТОН» Вячеславу Евграфовичу Грузинову, благодаря председателю Совета ПРОМСТРОЙБАНКА, президенту корпорации «РАДИОКОМПЛЕКС» Владимиру Ивановичу Шумко и председателю Правления ПРОМСТРОЙБАНКА Якову Николаевичу Дубенецкому, благодаря генеральному директору АО «ИММ» Михаилу Владимировичу Баринovu, оказавшим материальную помощь и финансовую поддержку издательству «ГОЛОС», отважно взявшемуся за это уникальное издание.

Виктор Петелин.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Чудовищная история

I

У-у-у-у-у-гу-гугу-у-у! о, гляньте, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне поет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул в меня кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи Боже мой, как больно! До костей проело кипятком. И я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди!

В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» едят дежурное блюдо — грибы, соус пикан по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя — все равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у!..

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, и кроме того, наешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. А теперь, зимой, куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и плачу сейчас не только от физической

боли и холода, а потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух!

Вот тело мое, изломанное, битое! Надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипятком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я весьма легко могу получить воспаление легких, а получивши его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном входе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, и поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — наигнуснейшая мразь! Человечьи очистки, низшая категория. Повар и тот попадаетеся разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорили псы-старожилы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, ведь уму собачьему непостижимо! Они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательства надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни.

Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только: сорок копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсти на ней нет, голая кожа, а штаны она

носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет: «До чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует».

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне? Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у...

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик? Чего ты скулишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой!.. Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице начало ее вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара.

«Шарик» — она назвала его! Какой он к черту Шарик! Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын счастливых родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес... Впрочем, спасибо ей на добром слове...

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не

товарищ и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холюя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... Р-р-р... гау-гау.

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газете напишет: меня, Филиппа Филипповича обкормили!

Вот он, все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет?.. У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

— Натурально, возможно! Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой лошади с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня, я умираю! Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами.

— Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы

ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у.

Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, разматал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у.

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

— Опять Шарик. Окрестили! Да называйте, как хотите. За такой исключительный ваш поступок...

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не проглотил веревочку. Еще, еще! Лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пытливо взглянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— А-га, самец, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощелкал пальцами. — Фить-фить!

— За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками в рыло, я слова не вымолвлю!

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы подержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный котбродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудака, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на kota он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взобрался по трубе до второго этажа. Ф-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять.

— Эх, чудака. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

— В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить!

Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуйте, Федор.

Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но в общем он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси! Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

— Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу, почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович. — Интимно вполголоса вдогонку: — А в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так. Целых четыре штуки.

— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с!

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй. Фить-фить...

— Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волею-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из шестидесяти тысяч московских псов разве уж

какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «МСПО. Мясная торговля». Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голуб на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведаль изолированной проволоки, а она будет почище извозничьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки,— «М».

Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Главрыбе», на углу Моховой, а потом уже «Б» (подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер).

Израцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского, красного сыру, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий сыр бакштейн.

Если играли на гармонике и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, а псов всегда салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-нэ-а-вина... Елисеевы братья бывшие...

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэтаже,

позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную, с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: «Пэ-эр-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая.

«Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивлением... — Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает, что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это так. Это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки, до чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где ж он паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм... это не парши... да стой ты, черт... гм... А-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же, а мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немало поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем проникли налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет... — мысленно взвыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о, черт бы взял их с их колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты.

Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?! — кричала отчаянно Зина. — Вот окаанный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой! С-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... батюшки! Вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не

потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, конечно, — мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла. — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодееры, за что ж вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей», — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес, — это, стало быть, я его ку-санул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— «Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?..

— У-у-у, — жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно. Опомнися и лежи, кретин!

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с! Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Кра-ковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двухгривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отравы для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя схватит живот. «Всех, кто скажет! Что другая!.. Здесь равняется с тобой...»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурки папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развешивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене и в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись, — приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тупнущий, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал, — в смятении подумал пес и привалился на ковровый

узор у тяжелого кожаного дивана, — а сову эту мы разъясним...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тьякнул, но очень робко.

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик!

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи... Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе, — подумал пес, — вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет. Морщины расплзались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

— Тяу-тяу... — он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неопишимо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д'оннер — двадцать пять лет ничего подобного, — субъект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы кудесник.

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.

Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с

распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— Двадцать пять лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на рю де ла Пэ.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая «Жиркость»! Вы не можете себе представить, профессор, чего эти бездельники подсунили мне вместо краски! Вы только поглядите, — бормотал субъект, ища глазами зеркало, — ведь это же ужасно. Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он. — Что ж мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм. Обрейтесь наголо.

— Профессор, — жалобно восклицал посетитель, — да ведь они же опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. — Ну, что ж, прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. «Много крови, много песен!..» Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, кто всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Фи-

липп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор, — из-за двери в экстазе воскликнул голос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звоночек пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно, пятьдесят четыре-пятьдесят пять. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета.

Она очень сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор... Клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма...

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять.

— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас...

— Сколько вам лет?! — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась от страха, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Альфонс... Я вам признаюсь, как на духу...

— «От Севильи до Гренады!..» — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна

сквозь искусственные продирались на ее щеках. — Я знаю, это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод! — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло у него кверху ногами.

«Ну вас к черту, — мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда, — и стараться не буду понять, что это за штука. Все равно не пойму».

Очнувшись от звона и увидев, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да, — непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледная и слабым голосом спрашивала дама.

— «От Севильи до Гренады...» Угум... В понедельник. Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — пятьдесят червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тявкнул над головой:

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же теперь делать?

— Господа! — возмущенно кричал Филипп Филиппович. — Нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.

«Похабная квартирка, — думал пес, — но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звончки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаче.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не «милостивый государь», — резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам... — вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это «мы»?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Шаблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже! Пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер.

— Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что ж теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович. — Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении...

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12-го сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем

и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и р-работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую? Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако, это здо-о-рово.

— Это неопишимо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — три. Смотровая — четыре. Операционная — пять. Моя спальня — шесть и комната прислуги — семь. В общем, не хватает... Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан! — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то случилось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он придуманным голосом, — в смотровой — читать, в приемной — одеваться, оперировать — в комнате прислуги, а в столовой — осматривать? Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть... Но я не Айседора Дун-

кан!! — вдруг рывкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минутку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодета мужчиной, двое вооружены револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее...

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру — пусть он оперирует...

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца... Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Да. Да. Я для них умер. Да. Да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так же совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес. — Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор? — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович. Глаза женщины сверкнули.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только... Я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клоквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Равнодушен к ним.

— Жалеете отдать полтинник?

— Нет.

— Так почему же?!

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом, — блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась, — лица, которых, я уверена, мы еще разъясим, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата, — горячо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черною широкой каймою лежали тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадлушке, обложенной снегом, —

икра. Меж тарелками — несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темные бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчалось. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом.

— Сюда их! — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец-тяпнутый — он был уже без халата, в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Ново-благословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин, — это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.

— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?

— Все, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, — э... мм... доктор Борменталь, умоляю вас: мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. «От Севильи до Гренады!..»

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском Базаре. На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего... Он, бедняга, наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок подымался пахнувший раками пар, пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как. *(Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.)* И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других же нет?

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что же это я! Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа.

Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, — думал он, захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино, — сквозь сон слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое означает?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович. — Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груды тарелок.

— Да ведь как же не убиваться! — возопил Филипп Филиппович. — Ведь это какой дом был! Вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, — возразил красавец-тяпнутый, — они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете! Не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалки и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пес, — но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом «н и о д н о г о»! — чтобы из нашего парадного внизу

при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В марте семнадцатого года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Так я говорю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши до сих пор нужно запирасть под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош... — заикнулся было тятнутый.

— Нич-чего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Шаблин? *(Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.)* Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? *(Филипп Филиппович указал вбок.)* Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! *(Филипп Филиппович начал багроветь.)* Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай Бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь! Статистика — жестокая вещь, вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому...

— Разруха, Филипп Филиппович!

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это —

мираж, дым, фикция. — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепашки, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует! Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной деревянной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Бей разруху!» — я смеюсь. *(Лицо Филиппа Филипповича перекошило так, что тлупнутый открыл рот.)* Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более людям, которые, вообще отстав в развитии от европейских лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт, ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа палача в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Горо-

довой! — «Угу, гу, гу, гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... — Городовой! Это и только это. И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему!

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай Бог вас кто-нибудь услышит!

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович, — никакой контрреволюции! Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается! Черт его знает! Так я говорю, никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность...

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, сорок рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните дуэт... Тара... ра... рим...

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей,

вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо, и никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола, в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали.

— Отлично. А мы пока этого уличного неврастеника наблюдаем, обмоем. Пусть бок у него заживет...

«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовка, снег... Боже, как тяжело это будет!..»

IV

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-приемной между шкафами отражали удачливого красавца пса.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович —

человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворника...»

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек, достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнзвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блесков, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалует. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя! — волновался Филипп Филиппович. — Запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи! Он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь, как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на зад, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого

торчали какие-то красные тряпки, пахнувшие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, какой мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю истерзал. Мордой его потычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипавшего к коврику, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блещущий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречающих псов, а у Мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер переднюю дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил:

— Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы! За шестерых лопают, — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — все равно, что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, проследовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен, именно — в царство поварахи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицован-

ной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечною огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыкала запахами, хлопотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна. — Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой...

«Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым и узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашницей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад. Клокотало, лилось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни, над белой половинной занавесочкой, стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна, — отстань. Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам ни к чему, — плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная...

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжелыми шторами, и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

«К берегам священным Нила», — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела выходная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет, ужинать, стало быть, будем. На ужин, надо полагать, телячьи отбивные».

И вот в этот ужасный день, еще утром, Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на свое собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день прошел обычно. Приема сегодня не было, потому что, как известно, во вторник приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на третье блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — слышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед. Обед! Обед! Обед! В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забежала, из кухни слышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тятнутого некогда доктора Борменталья. Тот привез с собой дурно пахнувший чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случилось, выбежал навстречу доктору Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

«Кто такое умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги. — Терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. — Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас, скорей, скорей!

«Не нравится мне. Не нравится», — пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суэта сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, поесть? Ну их в болото», — решил пес и вдруг получил сюрприз.

— Шарiku ничего не давать, — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, — просто глупо...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном

настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить, и еще одну купите. Чтoб вы псов не запырали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности, солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять», — бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза...

И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался в кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно. — Бок зажил — ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках.

В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес сегодня больше всего возненавидел тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно, ушел в угол.

— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоскою и презрением поглядел на нее.

«Что ж... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будеге делать со мной».

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей... — мелькнуло в голове. — За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые, розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью, секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеен-

чатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, — он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож!

Борменталь из сверкающей груди на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Хорошо спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели

остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул:

— Ножницы!

Инструмент мелькнул в руках у тятнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу!

Затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— Четырнадцать минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иглой впился в дряблую кожу.

Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блистающий коловорот. Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли кругом

всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилкой невиданного фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович ввелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потеками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Борменталь начал бледнеть, одною рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете?! — злобно заревел профессор. — Все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо! — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху, легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет, не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... ах, ты че... «К берегам священным...» Придаatok да-вайте!

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой (*«Не имеет равных в Европе... ей-богу»*, — *смутно подумал Борменталь*) он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распыленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарною нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилось на окрашенном кровью фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика и крови.

Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, но хитрый.

таля. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 года. Понедельник.

История болезни

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами, хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 килограммов (*знак восклицательный*).

Сердце, легкие, желудок, температура — в норме.

23 декабря. В восемь с половиной часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показания к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал профессор Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал доктор И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание вдвое учащено. Температура 42°. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин

в сердце и камфара по Преображенскому. Физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92. Температура 41°. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50. Температура 39,8°. Зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот. Температура 37,0°. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка.

Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальная.

(Запись карандашом.)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и тона (понижение). Лай вместо слова «гау, гау», на слоги «а-о». По окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кило за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.)

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял слово «А-б-ыр»!!

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено): 1 января 1925 г.

Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся (?), вызвав обморок горничной Зины.

Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(Косыми буквами карандашом):

Профессор расшифровал слово «Абыр-валг». Оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магии.

Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладки лист):

Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату. История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского. В 1 час 13 мин. глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. *Tinct. valer.*

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал профессора Преображенского по матери.

(Перерыв в записях.)

6 января. *(То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)*

Сегодня, после того как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пив-ная». Работает фонограф. Черт знает что такое...

Я теряюсь.

Прием у профессора прекращен. Начиная с пяти часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышатся явственная вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дрябловатой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок.

Ей-богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я (фонограф, фотографии).

По городу расплылся слух.

Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка:

«Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны».

О каком, к черту, марсианине? Ведь это кошмар!

Еще лучше в вечерней — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неопишное... Новое слово — «милиционер».

Оказывается — Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Ф. Ф. После того как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и так далее...

Что творится во время приема!! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Ф. Ф. как истый ученый признал свою ошибку — перемена гипофиза дает не омоложение, а полное о ч е л о в е ч и в а н и е (*подчеркнуто три раза*). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и моем, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних (*зачеркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово «буржуи». Ругал-

ся. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинет общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Ф. Ф. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москшвея, да... «От Севильи до Гренады». Москшвея, дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки» и «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы (Tarsus). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной.

Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филиппа Филипповича: «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ел селедку.

В пять часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда профессор приказал ему:

— Не бросай объедки на пол...

Неожиданно ответил:

— Отлезь, гнида.

Ф. Ф. был поражен. Потом оправился и сказал:

— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура! Он понимает.

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани.

Свистал: «Ой, яблочко».

Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: без всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы — творец! (*Клякса.*)

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так:

прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал (*три восклицательных знака*). Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перекресте зрительных нервов у собаки.

Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому! Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла. Потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с этой историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(*В тетради вкладки лист.*)

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан; в первый

раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной «Стоп-Сигнал» у Преображенской заставы.

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней. Болел инфлюэнцией.

За это время облик окончательно сложился:

- а) совершенный человек по строению тела,
 - б) вес около 3-х пудов,
 - в) рост маленький,
 - г) голова маленькая,
 - д) начал курить,
 - е) ест человеческую пищу,
 - ж) одевается самостоятельно,
 - з) гладко ведет разговор.
-

Вот так гипофиз! (*Клякса.*)

Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского
доктор Борменталь.

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, приемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича:

«Семечки есть в квартире запрещаю. *Ф. Преображенский*».

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталья:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».

Затем рукой Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукой Преображенского:

«Я сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукою Дарьи Петровны. Печатно:

«Зина ушла в магазин. Сказала, приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами.

Ше-р.

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... светит месяц... светит месяц...
Тьфу, прицепилась, вот окайнная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил. И позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары.

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице луговой небритый пух. Лоб поражал своею малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне, тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкою, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстухе.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстух.

— Что ж... «гадость», — заговорил он, — шикарный галстух. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил?

Ку-пить при-лич-ные бо-тинки, а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтоб лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете! Там женщины.

Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает!

Филипп Филиппович глянул строго:

— Прошу не называть Зину Зинкой. Понятно-с?

Молчание.

— Понятно ли, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вон плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете? Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам «папаша»? Что это за фамильярности! Чтобы я больше не слыхал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человечке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что ж это на самом деле. Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я вас просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек возвел глаза к потолку, как бы вспоминая некую форму-

лу); а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить!

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове.

— Как-с, — прищуриваясь, спросил он, — вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!..

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. — Я вам не товарищ! Это чудовищно! — «Кошмар, кошмар», — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же, — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурки в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович. — И я не понимаю, откуда вы их берете?

— Да что ж, развожу я их, что ли? — обиделся человек. — Видно, блоха меня любит, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджачка. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппо-

вич посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... да, может быть, без этого как-нибудь можно? — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так, без документа? Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Впервые, домком!

— При чем тут домком!

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — «встречаются, спрашивают»... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шляться»? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи. Трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему вы — труженик?

— Да уж известно, не нэпман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего трудового интереса?

— Известно что: прописать меня. Они говорят, где ж это

видано, чтоб человек проживал непрописанным в Москве. Это раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы... э... гм... вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «дурак» да «дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресфесере.

Филипп Филиппович налилсь кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он вернулся, преувеличенно вежливо склонив стан, и с железною твердостью произнес:

— Извините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно узнать, откопали такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали, какое тебе, говорят. Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4 марта празднуется.

— Покажите. Гм... черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой.

— Фамилию позвольте узнать.

— Фамилию я согласен иаследственную принять.

— Как-с? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это ваше дело, — со спокойным злорадством молвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал:

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку:

«Да...», покраснел и закричал:

— Попрошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И хлестко всадил трубку в рога.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю»... Черт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как так, документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда, — вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно, и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжело раненный при операции, — хмуро подвывал

Шариков, — меня вишь как отделали, — и он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо-с, не важно пока, — ответил удивленный Швондер. — Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у нас в доме свободной комнаты, я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогук так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем.

Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет. Ведь тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шахрахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой! Еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в

нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал, котов чтобы не было! — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной, проклятый черт, сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол, в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Исусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон.

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю, — повторил Филипп Филиппович, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас?!

— Филипп Филиппович, — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу! Гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта?.. Не слышу? Закройте воду!

— Гау... угу...

— Да закройте воду! Что он сделал, не понимаю?! — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппович еще раз погрохотал кулаками в дверь.

— Вон он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума спятили? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок! Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаанный, — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая, — выкрикивал Филипп Фи-

липпович, стараясь перекрычать воду, — нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал, через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите! Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкой у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны на деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гугу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни!

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Бойтся выходить, — глупо усмехнувшись, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу, прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью. — Мне бы только на минуточку...

— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор, — сейчас!

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже всей подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появлялись за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна. — Выливай в раковину.

— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже мокрые ноги.

— Ах, Боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное, — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, и очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты. — Позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видел более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь. — Сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие!

— Дикарь!

— Какой я дикарь, — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет, как бы чего своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович. — Вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись баннным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарим.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в седьмой квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В коту? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако. — То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал... Ну, повздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах... Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видел...

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так... — добавил решительный Федор, — вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну, что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет, — настойчиво заговорил Борменталь, — извольте заложить.

— Ну что, ей-богу, — забурчал недовольно Шариков.

— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков. — Я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой за-
пихнул салфетку за воротничок и стал похож на клиента в
парикмахерской.

— И вилок, пожалуйста, — добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины
в густом соусе.

— Я еще водочки выпью, — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь. — Вы
последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул испод-
лобья.

— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп
Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович. Я сам. Вы,
Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что
говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конеч-
но, не жаль, тем более что она и не моя, а Филиппа Филиппо-
вича. Просто — это вредно. Это раз, а второе — вы и без
водки держите себя неприлично, — Борменталь указал на
заклеенный буфет. — Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще
рыбы.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, по-
сбившись на Борменталья, налил рюмочку.

— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, —
и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заклю-
чение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая
улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у нас, как на параде, — заговорил он, — сал-
фетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожа-
луйста», «мерси», а так, чтобы по-настоящему, — это нет!
Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филиппови-
чу, а поднял рюмку и произнес:

— Ну, желаю, чтоб все...

— И вам так же, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж, — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. — Тут уж ничего не поделаешь. Клим!

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича.

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.

— Später¹... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut², — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

¹ Позднее (нем.).

² Хорошо (нем.).

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают..., Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина! — тревожно закричал Филипп Филиппович. — Убирай, детка, водку. Больше не нужна. Что же вы читаете? — в голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона...»

— Эту... как ее... переписку Энгельса с этим... как его, дьявола... с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. «Всех, кто скажет, что другая...» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съезжился и промолчал.

— Что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны... Кто убил кошку у мадам Полласухер?! Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стойте... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стойте...

— Вы стойте на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы косми-

ческого масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!..

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, — кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам надо молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества! Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер и дал. Он не негодяй. Чтоб я развивался.

— Я вижу, как вы развились после Каутского! — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше! Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина! Там в приемной... Она в приемной?

— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить! — отчаянно воскликнул Шариков. — Она казенная, из библиотеки!!

— Переписка — называется... как его?... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина повернулась и улетела.

— Я бы этого Швондера повесил бы, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофеем, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради Бога, посмотрите, в программе котов нету?

— И как такую сволочь в цирк допускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. — Что там у них?

— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре каких-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно.

— У Никитина... у Никитина... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Тэк-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что ж, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело, а слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тя-

желым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталья и Шарикова из цирка.

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предприни-

мал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из дома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман пиджака и немедленно после этого звал доктора Борменталья:

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте, — отозвался Борменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником, и атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству, — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович. — По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали называть фамильярно «Шариков», и я, и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович. — Ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я, или вы уйдем отсюда, и вернее всего вы. Сегодня я помешу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтоб съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно, и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и жилплощадь мне полагается определенно в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского, в шестнадцать квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово, кото-

рое Борменталь машинально отметил в мозгу, как новое: — Благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, *vorsichtig*¹... — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну уж, знаете... Если уж такую подлость!.. — кричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге?

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где ж я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично, — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе, рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежащие под прессом, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно

¹ Осторожно (нем.).

пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра XXV.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности эти ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные, как же они ухитрились?! — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага! Быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?! — закричала Зина, появившись в дверях как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. — Да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно! Кто же может подумать? Фу, какой срам, — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости Господи, — начал Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде «эээ». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодично ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три пополудни, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь приподнялся, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной тальей.

— Филипп Филиппович, — прочувствованно воскликнул он, — я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой... — растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся ему навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, — говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспышчивость. В сущности, ведь я так одинок... «От Севильи до Гренады...»

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам! — искренно воскликнул пламенный Борменталь. — Если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом.

— Ну, спасибо вам... «К берегам священным Нила...» Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю... — страстно вос-

кликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: — Ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно! — вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну вот, это же немыслимо, — шептал Борменталь, — в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами не «принимая во внимание происхождение» отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт... Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакоостнее ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей...». Вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения?

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы,

самому же выскочить на мировом значении, простите... — Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдович, как, по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил его Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Финита. Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном. — Клим! — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме этого, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня, — старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где. — Здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны-с! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять... «От Севильи до Гренады...» Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривая придатки из моз-

гов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то...

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу! На, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели, какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола, спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну, ладно. Физиологи будут в восторге... Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? Клим, Клим! — крикнул профессор. — Клим Чугункин! — Борменталь открыл рот. — Вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали. — Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. — Хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное!.. «От Се-

вилли до Гренады...» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович. — А не общечеловеческое! Это в миниатюре сам мозг! И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый...

— Вы великий ученый, — вот что, — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж получилось, Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что и папа — судебный следователь. Ведь, в конце концов, это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага? Теперь поняли. А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы, одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради Бога,

не клевещите на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему же теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно, что вы, на самом деле, спрашиваете. Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе.

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Кончено. Я его убью.

— Запрещаю это, — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги слышались.

Оба прислушались, но в квартире было тихо.

— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, покрытые черным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Ша-

рикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Поллюбитесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради Бога, — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и потряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что

не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непροститительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. «От Севильи до Гренады...» Боже мой.

— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе семь рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день, врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преоб-

раженский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера коты душили, душили.

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталь. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул, — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида...

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков.

— ...что я позволил себе...

— позволил...

— себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения...

— ...опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задавите!

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще! — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья. Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — прием-

ной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?..

— Я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет. Борменталь надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее:

— Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли решительный Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а уж мы с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страха барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что...

Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке со-

лонины каждый день... и угрожает, говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, ну, психика добрая, «От Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович, — нужно претерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович. — Погодите! Колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия!!! — заревел он вдруг и стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными ру-

ками здесь же пристрелю! Берегитесь, Шариков, говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло, и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен. Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... Питая большое уважение... гм... Предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вынул бумагу. — Хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду.

«...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома *Швондер*, секретарь *Пеструхин*».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Фи-

липп Филиппович, покрываясь пятнами. — Или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну извините, извините, голубчик, — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть.

— Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович!

— Голубчик, не сердитесь, меня он так задержал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают.

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

Преступление созрело и упало как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дула на лице Борменталья, а затем и Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберете вещи — брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры.

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича, очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым колючим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь не со своим лицом прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными.

Борменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом — мрак.

Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни и даже будто бы видели белый колпак самого профессора... Проверить это

трудно. Правда, и Зина, когда уже все кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что... Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью:

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицмейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и dokonчил, — и арест, в зависимости от результатов.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович. — Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень хорошие.

— Доктор Борменталь, благоволиите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милицкий вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?... Он же служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру: — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милиционер. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Федора, — только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способа обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться! — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милиционерский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы.

Филиппа Филипповича: «Валерьянки. Это обморок».

Доктора Борменталья: «Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского».

И Швондера: «Прошу занести эти слова в протокол».

Серые гармонии труб гремели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездой. Высшее существо, важный песий благодетель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Утвердился. Правда, голову всю ис-

полосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— «К берегам священным Нила...»

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался в них резал, рассматривал, шурился и пел:

— «К берегам священным Нила...»

Январь — март 1925 года
Москва

Впервые опубликовано в «Знамени», 1985, №6 с искажениями.

Публикуется по рукописи, хранящейся в ОР РГБ Ф.9.

В ОР РГБ хранится еще экземпляр повести: ф. 562, к. 1, ед. хр. 16. Так что канонический текст повести предстоит еще выработать.



БАНИЦА — ИВАН

В бане на станции Эсино Муромской линии в женский день, пятницу, неизменно присутствует один и тот же банщик дядя Иван, при котором посетительницам бани приходится раздеваться, пользуясь тазом вместо фиговых листьев. Неужели нельзя поставить в пятницу в баню одну из женщин, работающих в ремонте?

Рабкор

ПРЕДИСЛОВИЕ

До того неприлично про это писать, что перо опускается.

1. В БАНЕ

— Дядь Иван, а дядь Иван!

— Што тебе? Мыло, мочалка имеется?

— Все имеется, только умоляю тебя: уйди ты к чертям!

— Ишь, какая прыткая, я уйду, а в это время одежду покрадут. А кто отвечать будет — дядя Иван. Во вторник мужской день был, у начальника станции порцигар свистнули. А кого крыли? Меня, дядю Ивана!

— Дядя Иван! Да хоть отвернись на одну секундочку, дай пробежать!

— Ну, ладно, беги!

Дядя Иван отвернулся к запотевшему окошку предбанника, расправил рыжую бороду веером и забурчал:

— Подумаешь, невидаль какая. Чудачка тоже. Удовольствие мне, что ли? Должность у меня уж такая похабная... Должность заставляет.

Женская фигура выскочила из простыни и, как Ева по раю, побежала в баню.

— Ой, стыдобушка!

Дверь в предбанник открылась, выпустила тучу пара, а из тучи вышла мокрая, распаренная старушка, тетушка дорожного мастера. Старушка выжала мочалку и села на диванчик, мигая от удовольствия глазами.

— С легким паром, — поздравил ее над ухом сиплый бас.
— Спасибо, голубушка. Спас... Ой! С нами крестная сила. Да ты ж мужик?!

— Ну и мужик, дак что... Простыня не потребуется?
— Казанская Божья мать! Уйди ты от меня со своей простыней, охальник! Что ж это у нас в бане делается?

— Что вы, тетушка, бушуете, я же здесь был, когда вы пришли!

— Да не заметила давеча я! Плохо вижу я, бесстыдник. А теперь гляжу, а у него борода, как метла! Манька, дрянь, простыней закройся!

— Вот мученье, а не должность, — пробурчал дядя Иван, отходя.

— Дядя Иван, выкинься отсюда! — кричали женщины с другой стороны, закрываясь тазами, как щитами от неприятеля.

Дядя Иван повернулся в другую сторону, оттуда завыли, дядя Иван бросился в третью сторону, оттуда выгнали. Дядя Иван плюнул и удалился из предбанника, заявив зловеще:

— Ежели что покрадут, я снимаю с себя ответственность.

2. В ПИВНОЙ

В воскресный день измученный недельной работой дядя Иван сидел за пивом в пивной «Красный Париж» и рассказывал:

— Чистое мученье, а не должность. В понедельник топить начинаю, во вторник всякие работники моются, в среду которые с малыми ребятами, в четверг просто рядовые мужчины, в пятницу женский день. Женский день мне самый яд. То есть глаза б мои не смотрели. Набьется баб полные бани, орут, манатки свои разбрасают. И, главное, на меня обижаются, а я при чем? Должен я смотреть или нет, если меня представили к этому делу. Должен! Нет, хуже баб нету народа на свете. Одна и есть приличная женщина — жена нашего нового служащего Коверкотова. Аккуратная бабочка. Придет, все свернет, разложит, только скажет: «Дядя Иван, провались ты в преисподнюю»... Одно нехорошо: миловидная такая бабочка с лица, а на спине у нее родинка, да ведь до

чего безобразная, как летучая мышь прямо, посмотришь, плюнуть хочется...

— Что-о-о-о?! Какая такая мышь?.. Ты про кого говоришь, рыжая дрянь?

Дядя Иван побледнел, обернулся и увидел служащего Коверкотова. Глаза у Коверкотова сверкали, руки сжимались в кулаки.

— Ты где ж мышь видал? Ты что же гадости распространяешь? А?

— Какие гадости, — начал было дядя Иван и не успел окончить... Коверкотов подвинулся к нему вплотную и...

3. В СУДЕ

— Гражданин Коверкотов, вы обвиняетесь в том, что 21 марта сего года нанесли оскорбление действием служащему при бане гражданину Ивану.

— Гражданин судья, он мою честь опозорил!

— Расскажите, каким образом вы опозорили честь гражданина Коверкотова?

— Ничего я не позорил... Чистое наказание. Прошу вас, гражданин судья, уволить меня с должности банщицы. Сил моих больше нет.

*

Судья долго говорил с жаром, прикладывая руки к сердцу, и дело кончилось мировой.

Через несколько дней дядю Ивана освободили от присутствия в пятницу в женской бане и назначили вместо него женщину из ремонта.

Таким образом, на станции вновь наступили ясные дни.

МИХАИЛ

«Гудок», 9 апреля 1925 г.



О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛИЗМА

На собрание по перевыборам месткома на ст. Н член союза Микула явился вдребезги пьяный. Рабочая масса кричала: «Недопустимо!», но представитель учка выступил с защитой Микулы, объяснив, что пьянство — социальная болезнь и что можно выбирать и выпывая в состав месткома.

Рабкор 2619

ПРОЛОГ

★

— К черту с собрания пьяную физиономию. Это недопустимо! — кричала рабочая масса.

Председатель то вставал, то садился, точно внутри у него помещалась пружинка.

— Слово предоставляется! — кричал он, простирая руки, — товарищи, тише!.. Слово предостав... товарищи, тише! Товарищи! Умоляю вас выслушать представителя учка...

— Долой Микулу! — кричала масса, — этого пьяницу надо изжить!

Лицо представителя появилось за столом президиума. На учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла.

— Товарищи! — воскликнул представитель приятным баритоном. — Я представитель! И если он — Волна! А масса вы — Советская Россия, то учк не может быть не возмущен, когда возмущена стихия!

Такое начало польстило массе чрезвычайно.

— Стихами говорит!

— Кормилец ты наш! — восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того, как ее вывели, представитель продолжал:

— О чем шумите вы, народные витии?!

— На счет Микулы шумим! — отвечала масса.

— Вон его! Позор!

— Товарищи! Именно по поводу Микулы я и намерен говорить.

— Правильно! Крой его, алкоголика!
— Прежде всего перед нами возникает вопрос: действительно ли пьян означенный Микула?

— Ого-го-го-го! — закричала масса.

— Ну, хорошо, пьян, — согласился представитель. — Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос: на каком таком основании пьян уважаемый член союза Микула?

— Именинник он! — ответила масса.

— Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он... болен.

Масса застыла, как соляной столб.

Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя.

— Да, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу, сифилису, чуме, холере и... Прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство и откуда оно взялось?.. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам Красным Солнышком, воскликнул: «Наши веселия есть пити!»

— Здорово загнул!

— Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом: «Пьян, да умен — два угодя в нем!»

— А с князем что было? — спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря.

— Помер, голубчики. В одночасье от водки сгорел, — с сожалением пояснил всезнайка-секретарь.

— Царство ему небесное! — пискнула какая-то старушечка. — Хуть и советский, а все ж святой.

— Ты религиозный дурман на собрании не разводи, тетя, — попросил ее секретарь, — тут тебе царств небесных нету. Я продолжаю, товарищи. После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд, всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. «Пей, да дело разумей», — воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составил ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголиз-

ма, как-то: «Пьяному море по колено», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», «Не в свои сани не садись», и какие, бишь, еще?

— Чай не водка, много не выпьешь! — ответила крайне заинтересованная масса.

— Верно, мерси. «Разве с полведра напьешься». «Курица и та пьет». «И пить — умереть, и не пить — умереть». «Налей, налей, товарищ, заздравную чару!...»

— Бог зна-е-ет, что с нами случится, — подтянул пьяный засыпающий Микула.

— Товарищ больной, прошу вас не петь на собрании, — вежливо попросил председатель, — продолжайте, товарищ оратор.

— «Помолимся, — продолжал оратор, — помолимся творцу, мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу», «господин городской, будьте вежливы со мной, отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть», «неприличными словами прошу не выражаться и на чай не выдавать», «февраля двадцать девятого выпил штоф вина проклятого», «ежедневно свежие раки», «через тумбу, тумбу раз»...

— Куда?! — вдруг рявкнул председатель.

Пять человек вдруг, крадучись, вылезли из рядов и шмыгнули в дверь.

— Не выдержали речи, — пояснила восхищенная масса, — красноречиво убедил. В пивную бросились, пока не закрыли.

— Итак! — гремел оратор, — вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь, товарищи. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов восемнадцатого века в высшей степени любил поставить банку, а, однако, вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания Университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу... Я заканчиваю, и приступаем к выборам.

ЭПИЛОГ

«...после чего рабочие массы выбрали в кандидаты месткома известного алкоголика, и на другой же день он

сидел пьяный, как дым, на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда».

(Из того же письма рабкора)

МИХАИЛ

«Гудок», 15 апреля 1925 г.



СВАДЬБА С СЕКРЕТАРЯМИ

(Подлинное письмо рабкора Толкача)

Пардон! Что письмо мое, дорогие товарищи редактора, не носит столичного характера, а узкоместный. Однако если бы не существовал на свете «Гудок», знаменитый обличитель всех, то моя статья-заметка погибла бы в пучине неизвестности благодаря существованию нашей стенной газеты, в редакционную коллегию каковой входит как раз ниже описанная мною личность — номер первый. А не дурак же он! Чтобы сам про себя помещал обличающую корреспонденцию во весь рост!

Нет, далеко не дурак, и в частности в смысле самогона.

Итак, в нашем богоспасаемом Льгове II я проходил в компании комсомольцев и беспартийных, и разговаривали мы о поднятии производительности в республике, как слух наш был поражен звуками трубного оркестра, урезавшего марш «На сопках Маньчжурии», на весь Льгов II. Осмотревшись, мы убедились, что оркестр происходит из железнодорожника Харченко, квартирующего здесь. Тут же мы констатировали факт свадьбы в доме обозначенного Харченко на антирелигиозной основе. Интересуясь антирелигиозным браком, мы, прильнув к освещенным окнам, разглядели в бездне беспартийной молодежи и разлагающихся стариков лица:

- 1) секретаря ячейки РКП т. Полякова,
 - 2) бывшего секретаря ячейки комсомола,
- причем на обоих лицах, как бывшего, так настоящего, была написана жажда.

Пораженные, мы стали ждать, что она обозначает, причем комсомолец Сеня заметил:

— Я знаю, чего Поляков затесался сюда: специально для проведения свадьбы. Погодите, ребята, сейчас он выступит

с речью, причем вы все ахнете, до того он изумительно красноречив.

И мы задержались, облепив окна, как гроздь винограда.

И хозяин Харченко вручил П. и бывшему секретарю по громадной чарке самогона, вызвав страшный хохот в беспартийной массе, любовавшейся свадьбой под окнами, и разные слова, как-то:

— Хороши наши секретари. Они, оказывается, ждали самогону, как вороны крови.

И тут я, сгорая от стыда, услышал антирелигиозную речь П., содержание коей я немедленно занес в свою записную книгу дословно:

— Здоровье новобрачных! Ура!

И затем после второй чарки самогона:

— Горько! Горько!

После чего под громовой хохот все напились.

Я прямо краснею.

Толкач

Письмо списал МИХАИЛ

«Гудок», 18 апреля 1925 г.



КАК БУТОН ЖЕНИЛСЯ

В управлении Юго-Западных провизионки выдают только женатым. Холостым — шиш. Стало быть, нужно жениться. Причем управление будет играть роль свахи.

Рабкор № 2626

А не думает ли барин жениться.

Н.В.Гоголь (Женитьба)

Железнодорожник Валентин Аркадьевич Бутон-Нецелованный, человек упорно и настойчиво холостой, явился в административный отдел управления и вежливо раскланялся с провизионным начальством.

— Вам чего-с? Ишь ты, какой вы галстук устроили — горошком!

— Как же-с. Провизионочку пришел попросить.

— Так-с. Женитесь.

Бутон дрогнул:

— Как это?

— Очень просто. ЗАГС знаете? Пойдете туды, скажете: так, мол, и так. Люблю ее больше всего на свете. Отдайте ее мне, в противном случае кинусь в Днепр или застрелюсь. Как вам больше нравится. Ну, зарегистрируют вас. Документики ее захватите, да и ее самое.

— Чьи? — спросил зеленый Бутон.

— Ну, Варенькины, скажем.

— Какой... Варенькины?..

— Машинистки нашей.

— Не хочу, — сказал Бутон.

— Чудачина. Желая добра тебе говорю. Пойми в своей голове. Образ жизни будешь вести! Ты сейчас что по утрам пьешь?

— Пиво, — ответил Бутон.

— Ну, вот. А тогда шоколад будешь пить или какао!

Бутон слегка стошнило.

— Ты глянь на себя в зеркало Управления Юго-Запад-

ных железных дорог. На что ты похож? Галстук, как бабочка, а рубашка грязная. На штанах пуговицы нет, — ведь это ж безобразие холостяцкое! А женишься, — глаза не успеешь продрать, тут перед тобой супруга: не желаете ли чего? Как твое имя, отчество?

— Валентин Аркадьевич...

— Ну, вот, Валюша, стало быть, или Валюн. И будет тебе говорить: не нужно ли тебе чего, Валюн, не нужно ли другого, не нужно ли тебе, Валюша, кофейку, Валюше — то, Валюше — другое... Взбесишься прямо!.. То есть что это я говорю?.. не будешь знать, в раку ты или в Ю.-З. же-де!

— У ней зуб вставной!

— Вот дурак, прости Господи. Зуб! Да разве зуб — рука или нога? Да при этом ведь золотой же зуб! Вот чудачина, его в крайнем случае в ломбард можно заложить. Одним словом, пиши заявление о вступлении в законный брак. Мы тебя и благословим. Через год зови на октябрины, выпьем!

— Не хочу! — закричал Бутон.

— Ну ладно, вижу, вы упрямец. Вам хоть кол на голове теши. Как угодно. Прошу не задерживать занятого человека.

— Провизионочку позвольте.

— Нет!

— На каком основании?

— Не полагается вам.

— А почему Птюхину дали?

— Птюхин почище тебя, он женатый!

— Стало быть, мне без провизии с голоду подыхать?

— Как угодно, молодой человек.

— Это что же такое выходит, — забормотал Бутон, менаясь в лице. — Мне нужно или жизни лишиться с голоду, или свободы моей драгоценной?!

— Вы не кричите.

— Берите! — закричал Бутон, впадая в истерику, — жените, ведите меня в ЗАГС, ешьте с кашей!! — и стал рвать на себе сорочку.

— Кульер! Зови Вареньку! Товарищ Бутон предложение им будет делать руки и сердца.

— А чего они воют? — осведомился курьер.

— От радости ошалел. Перемена жизни в казенном доме.

МИХАИЛ

БУЗА С ПЕЧАТЯМИ

— Придется мне к месту моего жительства ездить, — сказал младший агент охраны Уткин Василий, — видно, не миновать мне начальству писать прошение.

Уткин Василий вооружился химическим карандашом и начертил некрасивыми буквами такое:

«ЗАЯВЛЕНИЕ
начальнику 2-й команды 3-го района
охраны грузов Сев.-Зап. ж.д.

Товарищ начальник, прошу вашего ходатайства о выдаче мне сезонного проездного билета от станции Медведево — места моей службы — до ст. Едрово — местожительства.

Младший агент охраны грузов

Уткин Василий»

Взяв с собой произведение своей руки, Уткин Василий отправился в Едровский сельсовет и сказал председателю:

— Заверь мне, милый человек, заявльнице!

Председатель сельсовета жидким чернилом на обороте уткинского произведения написал так:

«Подпись руки Василия Уткина Едровский сельсовет удостоверяет.

Председатель Васячкин».

Засим Уткин Василий направился в волостной исполком и вышел из него, имея на своей бумаге еще одну приписку, пониже на две строчки:

«Изложенное и подпись предсельсовета Васячкина Едровский ВИК удостоверяет.

Предвика (подпись неразборчива).

Секретарь (подпись совершенно неразборчива)».

Кроме того, на бумажке Уткина Василия помещались две печати: одна в левом верхнем, другая — в правом нижнем углу. Печати были очень красивые, круглые, синие, и в центре их помещалась закорюка, отдаленно напоминающая изображение серпа и молота.

— К кому бы еще пойти заверить? — рассуждал сам с собой Уткин Василий. — Впрочем, больше ни к кому не надо. Подписей достаточно, и парочка печатей. Правда, ни один леший не разберет, что на этих печатях, но это все равно.

*

Засим начались уткинские неприятности. По прошествии времени, которое полагается на волокиту и бюрократизм, получил обратно от начальства Уткин свое заявление, на котором было написано красивым и бойким почерком:

«Ввиду неясной и неразборчивой печати в просьбе отказать и не выдавать до получения заявления, заверенного ясными печатями».

Уткин, по прошествии времени, которое полагается на то, чтобы обомлеть, пополз опять в сельсовет и из сельсовета в ВИК с новым заявлением. Новое заявление ему опять заверили и поставили те же самые печати.

По прошествии времени, которое полагается на бузу и волюнку, Уткин вновь получил от начальства своего заявление с резолюцией:

«Отказать за неясностью печати».

Уткин явился вновь в сельсовет и ВИК с новым заявлением, причем сказал:

— Видно, братцы, ваши печати делал Федя, на свою рожу глядя.

Уткину вновь поставили на бумаге Федины произведения искусства. Уткин отправил бумагу начальству, и по прошествии времени бумага явилась обратно с резолюцией, которая Уткину уже была хорошо знакома:

«Отказать за неясностью печати».

Тут Уткин сел на стул и заревел, как от зубной боли.

*

Чем все это кончится — неизвестно. Что вы, граждане, в самом деле, младшего агента охраны Уткина умучить хотите?!

МИХАИЛ

«Гудок», 30 апреля 1925 г.



СМЫЧКОЙ ПО ЧЕРЕПУ

В основе фельетона истинное происшествие, описанное рабкором № 742

Дождалось наконец радости одно из сел Червоного, Фастовского района, что на Киевщине! Сам Сергеев, представитель райисполкома, он же заместитель предместкома, он же голова охраны труда ст. Фастов, прибыл устраивать смычку с селянством.

Как по радио стукнула весть о том, что сего числа Сергеев повернется лицом к деревне!

Селяне густыми косяками пошли в хату-читальню. Даже 60-летний дед Омелько (по профессии — середняк), вооружившись клюкой, приплелся на общее собрание.

В хате яблоку негде было упасть; дед приткнулся в уголочке, наставил ухо трубой и приготовился к восприятию смычки.

Гость на эстраде гремел, как соловей в жимолости. Партийная программа валилась из него крупными кусками, как из человека, который глотал ее долгое время, но совершенно не прожевывал.

Селяне видели энергичную руку, заложенную за борт куртки, и слышали слова:

— Больше внимания селу... Мелиорация... Производительность... Посевкампания... середняк и бедняк... дружные усилия... мы к вам... вы к нам... посевматериал... район... это гарантирует, товарищи... семенная ссуда... Наркомзем... Движение цен... Наркомпрос... Тракторы... Кооперация... облигации...

Тихие вздохи порхали по хате. Доклад лился, как река. Докладчик медленно поворачивался боком; и, наконец, совершенно повернулся к деревне. И первый предмет, бросившийся ему в глаза в этой деревне, было огромное и сморщенное

ное ухо деда Омельки, похожее на граммофонную трубу. На лице у деда была напряженная дума.

Все на свете кончается, кончился и доклад. После аплодисментов наступило несколько натянутое молчание. Наконец встал председатель собрания и спросил:

— Нет ли у кого вопросов к докладчику?

Докладчик горделиво огляделся: нет, мол, такого вопроса на свете, на который бы я не ответил!

И вот произошла драма. Загремела клюка, встал дед Омелько и сказал:

— Я прошу, товарищи, чтоб товарищ смычник попростому рассказал свой доклад, бо я *ничего не понял*.

Учинив такое неприличие, дед сел на место. Настала гробовая тишина, и видно было, как побагровел Сергеев. Прозвучал его металлический голос:

— Это что еще за индивидуум?

Дед обиделся:

— Я не индюком... Я — дед Омелько.

Сергеев повернулся к председателю:

— Он член комитета незаможников?

— Нет, не член, — сконфуженно отозвался председатель.

— Ага! — хищно воскликнул Сергеев, — стало быть, кулак?

Собрание побледнело.

— Так вывести же его вон!! — вдруг рявкнул Сергеев и, впад в иступление и забывчивость, повернулся к деревне не лицом, а совсем противоположным местом.

Собрание замерло. Ни один не приложил руку к дряхлому деду, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не выручил докладчика секретарь сельской рады Игнат. Как коршун, налетел секретарь на деда и, обозвав его «сукиным дедом», за шиворот поволок его из хаты-читальни.

Когда вас волокут с торжественного собрания, мудреного нет, что вы будете протестовать. Дед, упираясь ногами в пол, бормотал:

— Шестьдесят лет прожил на свете, не знал, что я кулак... а также спасибо вам за смычку!

— Ладно, — пыхтел Игнат, — ты у меня поразговариваешь. Ты у меня разговоришься, я тебе покажу, какой ты элемент.

Способ доказательства Игнат избрал оригинальный.

Именно, вытащив деда во двор, урезал его по затылку чем-то настолько тяжелым, что деду показалось, будто бы померкнуло полуденное солнце и на небе выступили звезды.

Неизвестно, чем доказал Игнат деду. По мнению последнего (а ему виднее, чем кому бы то ни было), это была резина.

На этом смычка с дедом Омелькой и закончилась.

Впрочем, не совсем. После смычки дед оглох на одно ухо.

*

Знаете что, тов. Сергеев? Я позволяю себе дать вам два совета (они также относятся и к Игнату). Во-первых, справиться, как здоровье деда. А во-вторых, смычка смычкой, а мужиков портить все-таки не следует, а то вместо смычки произойдут неприятности.

Для всех.

И для вас в частности.

«Гудок», 27 мая 1925 г.



ДВУЛИКИЙ ЧЕМС

На ст.Фастов ЧМС издал распоряжение о том, чтобы ни один служащий не давал корреспонденций в газеты без его просмотра.

А когда об этом узнал корреспондент, ЧМС испугался и спрятал книгу распоряжений под замок.

Рабкор 742

— Я пригласил вас, товарищи, — начал Чемс, — с тем, чтобы сообщить вам пакость: до моего сведения дошло, что многие из вас в газеты пишут?

Приглашенные замерли.

— Не ожидал я этого от моих дорогих сослуживцев, — продолжал Чемс горько. — Солидные такие чиновники... то бишь служащие... И не угодно ли ... Ай, ай, ай, ай, ай!

И Чемсова голова закачалась, как у фарфорового кота.

— Желал бы я знать, какой это пистолет наводит тень на нашу дорогую станцию? То есть ежели бы я это знал...

Тут Чемс пытливо обвел глазами присутствующих.

— Не товарищ ли это Бабкин?

Бабкин позеленел, встал и сказал, прижимая руку к сердцу:

— Ей-богу... честное слово... клянусь... землю буду есть... икону сыму... Чтоб я не дождался командировки на курорт... чтоб меня уволили по сокращению штатов... если это я!

В речах его была такая искренность, сомневаться в которой было невозможно.

— Ну тогда, значит, Рабинович?

Рабинович отозвался немедленно:

— Здравствуйте! Чуть что, сейчас — Рабинович. Ну, конечно, Рабинович во всем виноват! Крушение было — Рабинович. Скорый поезд опоздал на восемь часов — тоже Рабинович. Спецдежду задерживают — Рабинович! Гинденбург-

га выбрали — Рабинович? И в газеты писать — тоже Рабинович? А почему это я, Рабинович, а не он, Азеберджаньян?

Азеберджаньян ответил:

— Не ври, пожалста! У меня даже чернил нету в доме. Только красное азербейджанское вино.

— Так неужели это Бандуренко? — спросил Чемс.

Бандуренко отозвался:

— Чтoб я издох!..

— Странно. Полная станция людей, чуть не через день какая-нибудь этакая корреспонденция, а когда спрашиваешь: «Кто?», — виновного нету. Что ж, их святой дух пишет?

— Надо полагать, — молвил Бандуренко.

— Вот я б этого святого духа, если бы он только мне попался! Ну ладно, Иван Иванович, читайте им приказ, и чтоб каждый расписался!

Иван Иванович встал и прочитал:

«Объявляю всем служащим вверенного мне... мною замечено... обращаю внимание... недопустимость... и чтоб не смели, одним словом...»

*

С тех пор станция Фастов словно провалилась сквозь землю. Молчание.

— Странно, — рассуждали в столице, — большая такая станция, а между тем ничего не пишут. Неужели там у них никаких происшествий нет? Надо будет послать к ним корреспондента.

*

Вошел курьер и сказал испуганно:

— Там до вас, товарищ Чемс, корреспондент приехал.

— Врешь, — сказал Чемс, бледнея, — не было печали! То-то мне всю ночь снились две большие крысы... Боже мой, что теперь делать?.. Гони его в шею... То бишь проси его сюда... Здравствуйте, товарищ... Садитесь, пожалуйста. В кресло садитесь, пожалуйста. На стуле вам слишком твердо будет. Чем могу служить? Приятно, приятно, что заглянули в наши отдаленные палестины!

— Я к вам приехал связь корреспондентскую наладить.

— Да Господи! Да Боже ж мой! Да я же полгода бьюсь, чтобы наладить ее, проклятую. А она не налаживается. Уж такой народ. Уж до чего дикий народ, я вам скажу по секрету, прямо ужас. Двадцать тысяч раз им твердил: «Пишите, черти полосатые, пишите!» — ни черта они не пишут, только пьянствуют. До чего дошло: несмотря на то, что я перегружен работой, как вы сами понимаете, дорогой товарищ, сам им предлагал: «Пишите, — говорю, — ради всего святого, я сам вам буду исправлять корреспонденции, сам помогать буду, сам отправлять буду, только пишите, чтоб вам ни дна, ни покрышки» Нет, не пишут! Да вот я вам сейчас их позову, полюбуйтесь сами на наше фастовское народонаселение. Курьер, зови служащих ко мне в кабинет.

Когда все пришли, Чемс ласково ухмыльнулся одной щекой корреспонденту, а другой служащим и сказал:

— Вот, дорогие товарищи, зачем я вас пригласил. Извините, что отрываю от работы. Вот, товарищ корреспондент прибыл из центра, просить вас, товарищи, чтобы вы, товарищи, не ленились корреспондировать нашим столичным товарищам. Неоднократно я уже просил вас, товарищи...

— Это не мы! — испуганно ответили Бабкин, Рабинович, Азеберджаньян и Бандуренко.

— Зарезали, черти! — про себя воскликнул Чемс и продолжал вслух, заглушая ропот народа: — Пишите, товарищи, умоляю вас, пишите! Наша союзная пресса уже давно ждет ваших корреспонденций, как манны небесной, если можно так выразиться? Что же вы молчите?

Народ безмолвствовал.

МИХАИЛ Б.

«Гудок», 2 июня 1925 г.



ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ

Тамбов,
ПЧ-4 ... прошу срочно сообщить: для
какой именно цели вами была приобрете-
на местная газета «Тамбовская правда»

(Из служ. записки П. от 7 мая с. г.)

Сообщил рабкор № 56

ПЧ-4, начальник 4-го участка пути то ж, прикрыл плотнее дверь в канцелярию и сказал:

— Поздравляю вас, дорогие сослуживцы! — Затем повернулся к счетоводу, ядовито расшаркался и добавил. — В особенности вам мерси, уважаемый товарищ Крышкин. Каркали, каркали: выпиши да выпиши, вот тебе и выписал! Что же нам теперь ему отвечать?

Молчание.

— Чтецы, читатели! — язвительно продолжал ПЧ-4, — жили мы тихо, мирно, никого не трогали. Так нет, газетку им, вишь, подай. Как же я теперь перед начальством оправдаюсь?

Молчание.

— Молчите? — горько спросил ПЧ-4. — Засыпали человека — и к стороне? Сам, мол, отвечай, старая калоша, зачем своих подчиненных соблазнил на газету?

— Гневается? — спросил бухгалтер.

— И не приведи Бог! — ответил ПЧ, — и рвет, и мечет. Для какой, мол, цели выписали, запрашивает?

— Ехидный вопрос, — заметил старший дорожный мастер.

— Да уж, будьте покойны, — отозвался ПЧ, — там умеют спросить. Там просто не спросят. Итак, ваше уважаемое мнение, товарищи читуны?

— Военный совет надо сделать. Придумаем что-нибудь, — посоветовал бухгалтер.

— Правильно! Садитесь, братья, в кружок, — спокойно скомандовал ПЧ, — вместе влипли, вместе и ответ держать. По-товарищески.

И все с громом сдвинули стулья.

— Запорожцы пишут письмо турецкому султану, картина знаменитого художника Айвазовского!

— Это Репина картина, — сказала образованная машинистка.

— Черт с ним, не важно! Итак, желающих прошу выкладывать проекты. Что б ему такое написать похитрей?

— Чтоб не подумал, что мы ее читали!

— Бож-же сохрани...

— Не оберешься неприятностей.

— Я имею проект!

— Ну?

— Написать, стало быть, таким образом: ввиду того, что обои во вверенной мне канцелярии, вследствие гражданской войны...

— Вася, записывай.

— ... совершенно износились, приобретен комплект газеты «Тамбовская правда» для оклейки упомянутого помещения.

— Здорово!

— Не очень здорово. Напишет запрос — на каком основании не оклеили чистой бумагой.

— А если так попробовать... Пиши, Васюк: вследствие страшной дороговизны папиросной бумаги приобретен мною для употребления служащими вверенного мне участка комплект газеты в качестве раскурочной бумаги.

Основание: газета «Тамбовская правда» печатается на скверной бумаге тонкого качества, полезного для здоровья. Кроме того, невозможность курить «Известия Исполнительного Комитета» вследствие их толщины.

— Хитро!

— А знаете, что можно, — вдруг заявил один из приятелей ПЧ, — вот я придумал, Ванюша, проект...

— Излагай!

Приятель замялся.

— При дамах не могу.

— На ухо скажи.

При тихом хихикании запорожцев, очевидно, догадавшихся, в чем дело, приятель нашептал что-то ПЧ на ухо.

— Дурак, — коротко заметил ПЧ, — сядь.

— Колпаки для ламп делали!

— Запиши.

— Столы обтягивали!

— Дельно.

— Летние фуражки для дорожных мастеров!

— Для топки печей в служебных помещениях!..

Вечером ответ был готов, перестукан на машинке и отправлен:

«В ответ на отношение ваше за № 4393 от 7 мая с. г. сообщаю, что газета «Тамбовская правда» приобретена мною для технических нужд вверенного мне участка, как-то: оклейка служебных помещений, топка печей, обтягивания столов, изготовления колпаков на лампы в канцелярии и изготовления фуражек в качестве летней прозодежды.

Что касается подозрения, будто бы на участке читали газету, сообщаю, что ничего подобного мною не замечено. А в случае обнаружения виновников принимаются срочные меры.

С почтением ваш ПЧ...»

МИХАИЛ

«Гудок», 3 июня 1925 г.



РАБОТА ДОСТИГАЕТ 30 ГРАДУСОВ

Общее собрание транспортной комячейки ст. Троицк Сам.-Злат. не состоялось 20 апреля, так как некоторые партийцы справляли Пасху с выпивкой и избиванием жен.

Когда это происшествие обсуждалось на ближайшем собрании, выступил член бюро ячейки и секретарь месткома и заявил, что пить можно, но надо знать и уметь как.

Рабкор Zubochistka

Одиноким человек сидел в помещении комячейки на станции ИКС и тосковал.

— В высшей степени странно. Собрание назначено в 5 часов, а сейчас половина девятого. Что-то ребяташки стали опаздывать.

Дверь впустила еще одного.

— Здравствуй, Петя, — сказал вошедший, — кворум изображаешь? Изображай. Голосуй, Петро!

— Ничего не понимаю, — отозвался первый, — Банка нету, Кружкина нет.

— Банкин не придет.

— Почему?

— Он пьян.

— Не может быть!

— И Кружкин не придет.

— Почему?

— Он пьян.

— Ну, а где же остальные?

Наступило молчание. Вошедший стукнул себя пальцем по галстуку.

— Неужели?

— Я не буду скрывать от тебя русскую горькую правду, — пояснил второй, — все пьяны. И Горошков, и Сосиськин, и Мускат, и Корнеевский, и кандидат Горшаненко. Закрывай, Петя, собрание!

Они потушили лампу и ушли во тьму.

Праздники кончились, поэтому собрание было полноводно.

— Дорогие товарищи, — говорил Петя с эстрады, — считаю, что такое положение дел недопустимо. Это позор! В день Пасхи я лично сам видел нашего уважаемого товарища Банкина, каковой Банкин вез свою жену...

— Гулять я ее вез, мою птичку, — елеиным голосом отозвался Банкин.

— Довольно оригинально вы везли, Банкин! — с негодованием воскликнул Петя. — Супруга ваша ехала физиономией по тротуару, а коса ее находилась в вашей уважаемой правой руке!

Ропот прошел среди непьющих.

— Я хотел взять локон ее волос на память! — растерянно крикнул Банкин, чувствуя, как партбилет колеблется в его кармане.

— Локон? — ядовито спросил Петя, — я никогда не видел, чтобы при взятии локона на память женщину пинали ногами в спину на улице!

— Это мое частное дело, — угасая, ответил Банкин, ясно ощущая ледяную руку укома на своем билете.

Ропот прошел по собранию.

— Это, по-вашему, частное дело? Нет-с, дорогой Банкин, это не частное! Это свинство!!

— Прошу не оскорблять! — крикнул наглый Банкин.

— Вы устраиваете скандалы в публичном месте и этим бросаете тень на всю ячейку! И подаете дурной пример кандидатам и беспартийным! Значит, когда Мускат бил стекла в своей квартире и угрожал зарезать свою супругу — и это частное дело? А когда я встретил Кружкина в пасхальном виде, то есть без правого рукава и с заплывшим глазом?! А когда Горшаненко на всю улицу крыл всех встречных по матери — это частное дело?!

— Вы подкапываетесь под нас, товарищ Петя, — неуверенно крикнул Банкин.

Ропот прошел по собранию.

— Товарищи. Позвольте мне слово, — вдруг звучным голосом сказал Всемизвестный (имя его да перейдет в потомство). — Я лично против того, чтобы этот вопрос ста-

вить на обсуждение. Это отпадает, товарищи. Позвольте изложить точку зрения. Тут многие дебатировать: можно ли пить? В общем и целом пить можно, но только надо знать, как пить!

— Вот именно!! — дружно закричали на алкогольной крайней правой.

Непьющие ответили ропотом.

— Тихо надо пить, — объявил Всемизвестный.

— Именно, — закричали пьющие, получив неожиданное подкрепление.

— Купил ты, к примеру, три бутылки, — продолжал Всемизвестный, — и...

— Закуску!!

— Тиш-ше!!

— ...Да, и закуску...

— Огурцами хорошо закусывать...

— Тиш-ше!..

— Пришел домой, — продолжал Всемизвестный, — занавески на окнах спустил, чтобы шпионские глаза не нарушили домашнего покоя, пригласил приятеля, жена тебе селедочку очистит, сел, пиджак снял, водочку поставил под кран, чтобы она немножко озябла, а затем, значит, не спеша, на один глоток налил...

— Однако, товарищ Всемизвестный! — воскликнул пораженный Петя. — Что вы такое говорите?!

— И никому ты не мешаешь, и никто тебя не трогает, — продолжал Всемизвестный. — Ну, конечно, может у тебя выйти недоразумение с женой, после второй бутылки, скажем. Так не будь же ты ослом. Не тащи ты ее за волосы на улицу! Кому это нужно! Баба любит, чтобы ее били дома. И не бей ты ее по физиономии, потому что на другой день баба ходит по всей станции с синяками — и все знают. Бей ты ее по разным сокровенным местам! Небось, не очень-то пойдет хвастаться.

— Браво!! — закричали Банкин, Закусин и К°.

Аплодисменты загремели на водочной стороне.

Встал Петя и сказал:

— За все свое время я не слышал более возмутительной речи, чем ваша, товарищ Всемизвестный, и имейте в виду,

что я о ней сообщу в «Гудок». Это неслыханное безобразие!

— Очень я тебя боюсь, — ответил Всемизвестный. — Сообщи!

И конец истории потонул в выкриках собрания.

МИХАИЛ Б.

«Гудок», 4 июня 1925 г.



КАРАУЛ!

Ректору ГИЖа

Уважаемый товарищ ректор!

Пишу это на предмет полного искоренения нижеперечисленных лиц. В противном случае советской периодической прессе угрожает гибель со всеми ее приложениями. А лица эти по вашему ведомству.

Итак: глава 1. АЛЬБЕРТ

«Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня свалилась шляпа» — такое написал незабвенный писатель Антон Павлович Чехов. Но он это написал в «Жалобной книге», а не в книге со звучным и привлекательным названием «Под восточной звездой» (библиотека «Огонька»). Ее — эту книгу — можно иметь у любого газетчика за 15 коп., а в ней на стр. 9-й:

«...они не думают о том, что прямо из мавританских зал этого дворца им предстоит поездка через бурное море, прячась под кучей просоленных брезентов на палубе рабочей шхуны».

Это на 9-й странице, которая следует, как известно, за 8-й, а 8-я — роковая. До 8-й плыл автор Альберт Сыркин более или менее благополучно, а на 8-й плюнул, махнул рукой и перестал бороться с хитрым русским языком. И начались аварии:

«... нефть куда-то возилась в грязных цистернах»...

Протестую, как читатель, заплативший за «Звезду» 15 коп. Даже за такую ничтожную сумму ничего этого не может быть на свете, если и «возилась», то не куда-то, а если «куда-то», то не «возилась». А возили ее, проклятую нефть! Возили ее! Возили!! Она — неодушевленная дрянь.

Положим, глагол каверзный. Вообще путаница и непонятно.

«...Он не захотел ехать в Москву, а вызвался дипломатическим курьером в Карс!» (стр. 17).

Может быть два решения: или не хватает четырех слов, сам вызвался поехать в качестве дипломатического курьера, или — что ужаснее всего — не нефтяной ли это истории повторение: «его вызвали»? (Вызвался — вызвали, как возилась — возили?)

О, если так! Тогда Альберту очень плохо в волнах русского языка. И ему действительно нехорошо, и именно на стр. 10-й:

«Энвер-Паша бывлой диктатор Турции, руководитель армянских резней...»

Энвер-Паша — плохой человек, но множественного числа у слова «резня» нет. Это печально. Русский язык недостаточно усовершенствован, но нету. Слову «резь» посчастливилось, — имеет «рези», но они не всегда армянские.

Армянская же всегда резня, сколько бы раз негодяй Энвер ее ни устроил. Кстати, об армянах: слова «порядководитель» (стр. 17) нету тоже. Слово «консула́», если говорить откровенно, заменено в русском языке словом «консулы». «Лы». Что может быть ничтожнее! А между тем меняет все!

Или: «Год до него погиб...» (стр. 11). Нет, не погибал! За год до него он погиб! (Речь идет о бароне Унгерне фон Штернберге.)

Здесь уместно (барон... паша) вернуться к Энверу: никто не поверит Альберту Сыркину, что Энвер ходил в серой барашковой шапке с эскортом подобострастных адъютантов.

Какой ты подобострастный ни будь, нет такой шапки на земном шаре!

А если бы и была, то находилась бы она не на Энвер-Паше, а в Кремле, рядом с царь-колоколом и пушкой. Царь-шапка.

Альберт открыл миллионы «малярийных бацилл» на стр. 13-й. Нету малярийной бациллы в природе, и нечего на нее клеветать. Никакая бацилла малярии не вызывает.

Но не бывает там разных выражений — как-то: «...Флаги их гордо ежедневно полоскались над унылыми

стенами» (стр. 21) и «...помогающем созидаться и строиться пробуждающемуся Востоку» (стр. 19), и «... скоро затем опять шатался со мной по Закавказью» (стр. 17) Не бывает, чтобы пробирались делегаты по бурному Черному морю, «окутанному сплошной сетью плавучих мин...» (стр. 9). Восьмое чудо такие мины, которые, будучи плавучими, сетью окутывают.

Одним словом, такая книжка не стоит 15-ти копеек.

Глава 2: ИМЕНА ИХ ТЫ, ГОСПОДИ, ВЕСИ

Но куда же «Восточной звезде» до «Вечерней Москвы».

Компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагеря и объявит, что всякая звезда, значит, на небе, так вот как на ладони все видишь!

Это Николай Васильевич Гоголь про «вечорку» сказал. Только он не знал, что в ней не один кавалер, а несколько, и каждый из них рассказывает изумительные вещи. Про пуговицы из крови и про памятник собаке, про новоизобретенную самим же кавалером теорию происхождения рака и про дерево-людоед, про золотую лихорадку и о том, какая погода будет на земном шаре через 1 миллион лет.

Пища эта может удовлетворить самую жадную любознательность. Но только «о д н о г о д о в а л о г о» ребенка, как назло, не существует. Бывает двухгодовалый, возможен трехгодовалый, и несомненен «годовалый», хотя бы его и напоили бензином вместо лекарства. Можно поверить и в кавалерские рассказы об омоложенном миллионере, спившемся от радости, но ни в коем случае нельзя верить, что «вчера днем по г у с т о м у дыму, замеченному с каланчи в районе Останкино, в ы е х а л а Сухаревская часть» (№ 94). Что Сухаревские пожарные — лихие ребята, известно всем, но такая штука и им не под силу! Сухаревский брандмейстер — не Илья-пророк.

Кавалер «Ю.Л.» побывал на выставке птиц. Обливаясь кровавым потом, сочинял Ю.Л. отчет об этой выставке (№ 92) и все-таки жертвой пал в борьбе с роковой. «О б р а щ а ю т в н и м а н и е бронзовые и белые и н д е й к и, — написал предвиденный автором «Ревизора» персонаж — любитель выставок и не добавил, «на кого» или «на что» обращают свое внимание поразившие его птицы. Хуже, чем «Ю.Л.у» — пришлось «Приму», побывавшему «На берегах Юкона». Прим хотел поделиться с публикой ощущениями,

полученными им от картины и игры какой-то актрисы, и сделал это таким образом:

«В ней, как всегда, в п е ч а т л я е т грубоватая простота»...

— Черт знает что! И чина нет такого! Одним... Одним словом, так больше невозможно.

Прошу их усмирить.

«Журналист», 1925, № 6-7



ШПРЕХЕН ЗИ ДЕЙТЧ?

В связи с прибытием в СССР многих иностранных делегаций усилился спрос на учебники иностранных языков. Между тем новых учебников мало, — а старые не-удовлетворительны по своему типу.

Металлист Щукин постучался к соседу своему по общезнанию — металлисту Крюкову.

— Да, да, — раздалось за дверью.

И Щукин вошел, а войдя, попятился в ужасе — Крюков в одном белье стоял перед маленьким зеркалом и кланялся ему. В левой руке у Крюкова была книжка.

— Здравствуй, Крюков, — молвил пораженный Щукин, — ты с ума сошел?

— Найн, — ответил Крюков, — не мешай, я сейчас.

Затем отпрянул назад, вежливо поклонился окну и сказал:

— Благодарю вас, я уже ездил. Данке зер! Ну, пожалуйста, еще одну чашечку чаю, — предложил Крюков сам себе и сам же отказался: — Мерси, не хочу. Их виль... Фу, дьявол... Как его. Нихт, нихт! — победоносно повторил Крюков и выкатил глаза на Щукина.

— Крюков, миленький, что с тобой? — плаксиво спросил приятель, — опомнись.

— Не путайся под ногами, — задумчиво сказал Крюков и устоял на свои босые ноги. — Под ногами, под ногами, — забормотал он, — а как нога? Все вылетело. Вот леший... фусс, фусс! Впрочем, нога не встретится, нога — ненужное слово.

«Кончен парень, — подумал Щукин, — достукался, давно я замечал...»

Он робко кашлянул и пискнул:

— Петенька, что ты говоришь, выпей водицы.

— Благодарю, я уже пил, — ответил Крюков, — а равно и ел (он подумал), а равно и курил. А равно...

«Посижу, посмотрю, чтобы он в окно не выбросился, а там можно будет людей собрать. Эх, жаль, хороший был парень, умный, толковый...» — думал Шукин, садясь на край продранного дивана.

Крюков раскрыл книгу и продолжал вслух:

— Имеете ль вы трамвай, мой дорогой товарищ? Гм... Камрад (Крюков задумался). Да, я имею трамвай, но моя тетка тоже уехала в Италию. Гм... Тетка тут ни при чем. К чертовой матери тетку! Выкинем ее, майне танте. У моей бабушки нет ручного льва. Варум? Потому что они очень дороги в наших местах. Вот сукины сыны! Неподходящее! — кричал Крюков. — А любите ли вы колбасу? Как же мне ее не любить, если третий день идет дождь! В вашей комнате имеется ли электричество, товарищ? Нет, но зато мой дядя пьет запоем уже третью неделю и пропил нашего водолаза. А где аптека? — спросил Крюков Шукина грозно.

— Аптека в двух шагах, Петенька, — робко шепнул Шукин.

— Аптека, — поправил Крюков, — мой добрый приятель, находится напротив нашего доброго мэра и рядом с нашим одним красивым садом, где мы имеем один маленький фонтан.

Тут Крюков плюнул на пол, книжку закрыл, вытер пот со лба и сказал по-человечески:

— Фу... здравствуй, Шукин. Ну, замучился, понимаешь ли.

— Да что ты делаешь, объясни! — взмолился Шукин.

— Да понимаешь ли, германская делегация к нам завтра приедет, ну, меня выбрали встречать и обедом угощать. Я, говорю, по-немецки ни в зуб ногой. Ничего, говорят, ты способный. Вот тебе книжка — самоучитель всех европейских языков. Ну и дали! Черт его знает, что за книжка!

— Усвоил что-нибудь?

— Да кое-что, только мозги свернул. Какие-то бабушки, покойный дядя... А настоящих слов нет.

Глаза Крюкова вдруг стали мутными, он поглядел на Шукина и спросил:

— Имеете ли вы кальсоны, мой сосед?

— Имею, только перестань! — взвыл Щукин, а Крюков добавил:

— Да, имею, но зато я никогда не видал вашей уважаемой невесты!

Щукин вздохнул безнадежно и убежал.

ТУСКАРОРА

«Бузотер», 1925, № 19



УГРЫЗАЕМЫЙ ХВОСТ

У здания МУРа стоял хвост.

— Ох-хо-хонюшки! Стоишь, стоишь...

— И тут хвост.

— Что поделаешь? Вы, позвольте узнать, бухгалтер будете?

— Нет-с, я кассир.

— Арестовываться пришли?

— Да как же!

— Дело доброе! А на сколько, позвольте узнать, вы изволили засыпаться?..

— На 300 червончиков.

— Пустое дело, молодой человек. Один год. Но принимая во внимание чистосердечное раскаяние, и, кроме того, Октябрь не за горами. Так что в общей сложности просидите три месяца и вернетесь под сень струй.

— Неужели? Вы меня прямо успокаиваете. А то я в отчаянье впал. Пошел вчера советоваться к защитнику, — уж он пугал меня, пугал, статья, говорит, такая, что меньше чем двумя годами со строгой не отделаетесь.

— Брешут-с они, молодой человек. Поверьте опытности. Позвольте, куда ж вы? В очередь!

— Граждане, пропустите. Я казенные деньги пристроил! Жжет меня совесть...

— Тут каждого, батюшка, жжет, не один вы.

— Я, — бубнил бас, — казенную лавку Моссельпрома пропил.

— Хват ты. Будешь теперь знать, закопают тебя, раба Божия.

— Ничего подобного. А если я темный? А неразвитый? А наследственные социальные условия? А? А первая судимость? А алкоголик?

— Да какого ж черта тебе, алкоголику, вино препоручили?

— Я и сам говорил...

— Вам что?

— Я, гражданин милицмейстер, терзаемый угрызениями совести...

— Позвольте, что ж вы пхаетесь, я тоже терзаемый...

— Виноват, я с десяти утра жду, арестоваться.

— Говорите коротко, фамилию, учреждение и сколько.

— Фиолетов я, Миша. Терзаемый угрызениями...

— Сколько?

— В Махретресте — двести червяков.

— Сидорчук, прими гражданина Фиолетова.

— Зубную щеточку позвольте с собой взять.

— Можете. Вы сколько?

— Семь человек.

— Семья?

— Так точно.

— А сколько ж вы взяли?

— Деньгами двести, салоп, часы, подсвечники.

— Не пойму я, учрежденский салоп?

— Зачем? Мы учреждениями не занимаемся. Частное семейство — Штипельмана.

— Вы Штипельман?

— Да никак нет.

— Так при чем тут Штипельман?

— При том, что зарезали мы его. Я докладываю: семь человек — жена, пятеро детишек и бабушка.

— Сидорчук, Махрушин, примите меры пресечения!

— Позвольте, почему ему преимущества?

— Граждане, будьте сознательные, убийца он.

— Мало ли, что убийца. Важное кушанье! Я, может, учреждение подорвал.

— Безобразие. Бюрократизм. Мы жаловаться будем.

ТУСКАРОРА

«Бузотер», 1925, № 20



ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВЯТЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Бумага, адресованная ВЧ-25
со ст. Алатырь Казанской
дор., фельдшерицы Поденко.

Довожу до вашего сведения, что в мое дежурство 15 июня с. г. в 7 час. вечера в больницу явился в нетрезвом виде представитель учстрахкассы А. К. Сергисевский, без моего ведома вломился в родильное отделение, а оттуда прошел в геникологическую палату, где начал осматривать белье у женщин, говоря, что оно грязное, кричал, перепугал больных, назвал дежурную фельдшерицу свиньей, а одну из больных проходимкой.

Подпись фельдшерицы.

Подпись сиделки.

Подпись больных.

Подпись рабкора № 994.

Хорошо и тихо было в железнодорожной больнице. Вечер. Поправляющиеся больные занимались чтением газет и разных полезных книг. Около тяжелобольных суетились сиделки и фельдшерицы.

Из родильного отделения доносились временами стоны.

Там — рожали.

Словом, все как полагается, в приличном месте.

И вот... раздались громкие шаги, затем негромкое иканье, и в больнице появился гражданин. Сильнейший запах пива появился вслед за гражданином и смешался с запахом йода и хлороформа.

— Позвольте... э... узнать... где у вас тут... э... родильное отделение?.. — спросил гражданин, загадочно улыбаясь.

— А вам зачем? — удивленно осведомилась фельдшерица.

— Я родить желаю, — пояснил гражданин.

— Как — родить? Вы мужчина, — ответила фельдшерица, не веря своим ушам.

— А п-почем вы знаете? Хи-хи! Впрочем, я пошутил. Я...

пошутил, м-моя цыпочка, — молвил гражданин и сделал попытку взять фельдшерицу за подбородок, но промахнулся.

— Я вам не цыпочка, — неуверенно ответила фельдшерица, пораженная уверенными действиями посетителя, — а кто вы такой?

— Я, м-моя м-милая, представитель учстрахкасы, — объяснил дорогой гость.

— Что же вам угодно?

— А вот сейчас узнаете, — зловеще молвил гость.

Тут он очень ловко открыл дверь в родильное отделение и появился там во всей своей красоте. Пораженные ею родильницы встретили посетителя легким визгом...

— Я в-вам помешал?.. — обиженно спросил гость.

— Гражданин, уйдите, что вы! — в ужасе сказала фельдшерица.

— Довольно странно, гм... как же это я уйду? Только что пришел и сейчас же уйду? Нет-с, я сейчас белее буду рассматривать... — С этими словами посетитель сделал пять косых шагов к крайней койке.

В родильном завывли.

Несколько ошеломленный посетитель покачался, как маятник, и заметил:

— Ну, л-ладно. Если вы такие... Я... Зайду па-па-зн-е-е.

И вышел и вошел в гинекологическое и направился к крайней койке и взялся за одеяло.

Фельдшерица набралась храбрости.

— Прошу прекратить этот осмотр, вы беспокоите больных.

— Что-о?! — спросил посетитель, и ярость начала выступать на его малиновом лице, — как ты сказала? Я беспокою? Я?! Я?! Я?! (головы сиделок появились в дверях). Я?!!! Член учстрахкасы, беспокою больных? Да ты знаешь, кто ты такая после всех твоих замечаний?

— Кто? — спросила, бледнея, фельдшерица.

— Свинья ты, вот ты кто!

Фельдшерица вынула носовой платок и заплакала в него.

— Вон! — гаркнул вдруг посетитель на сиделок таким голосом, что они мгновенно провалились сквозь землю. Уничтожив таким образом низший персонал, алкогольный

ревизор обратился к среднему персоналу, именно к той же фельдшернице.

— Ты знаешь, что я с тобой могу сделать? Ты у меня в 24 минуты вылетишь на улицу... и на этой улице сгниешь под забором... Ты у меня пятки будешь лизать и просить прощения. Н-но... я т-тебя не прошу! Пойми, несознательная личность, что это моя святая обязанность осмотр больных и выявление их нужд. Может быть, они на что-нибудь жалуются?

— Гражданин, — взмолился женский голос из-под одеяла, — уйдите вы отсюда.

— Под каким одеялом это сказали? — грозно осведомился гость. — Под этим, с полосками?! Молчи, проходимка!!

Под одеялом с полосками заплакали. Потом заплакали под другим одеялом.

Ревизор покачался на месте и сказал:

— Хорошо-с, очень хорошо вы меня приняли. Так и запишем. Будете вы помнить, как оскорблять представителя страхкасы при исполнении им своих обязанностей. Я вам покажу... кузькину мать...

И с этими словами «высокий» посетитель под дружный женский плач отбыл из больницы...

*

...Куда — мне неизвестно. Но, во всяком случае, да послужит ему мой фельетон на дальнейшем его пути фонарем.

МИХАИЛ

«Гудок», 15 июля 1925 г.



ЧЕЛОВЕК С ГРАДУСНИКОМ

У нас на станции рабочий в летучке заболел, врач к нему приехал, поставил градусник и забыл про него, уехал на дрезине, а больной так с градусником и остался.

Рабкор 1212

1

Врач завинтился совершенно. Приехал на станцию, осмотрел пять человек с катаром желудка. Одному выписал соду три раза в день по чайной ложке, другому соду три раза в день по пол чайной ложки, третьему — один раз в день по $\frac{1}{4}$ чайной ложки, четвертому и пятому, для разнообразия, через день по ложке; шестой — ногу сломал, двое страдали ревматизмом, один — запором; жена стрелочника жаловалась, что видит во сне покойников, двум не выдали пособия по болезни, дорожная мастерша неожиданно родила...

Одним словом, когда нужно было садиться в дрезину, в голове у врача было только одно: «Ко щам пора, дьявольски устал...»

И тут прибежали и сказали, что в летучке один заболел. Врач только тихо крикнул и полетел к больному.

— Так-с, язык покажите, голубчик. Паршивый язык! Когда заболел? 13-го?.. 15-го?.. Ах, 16-го?.. Хорошо, то бишь плохо... Сколько тебе лет? То есть я хотел спросить: живот болит? Ах, не болит? Болит? Тут болит?

— Ой-о...

— Постой, постой, не кричи. А тут?

— Ого-го!..

— Постой, не кричи.

— Дрезина готова, — слышалось за дверью.

— Сейчас, одну минуту... Голова болит?.. Когда заболела? То есть я хотел спросить — поясницу ломит? Ага! А колени?.. Покажи коленку. Сапог-то стащи!

— У меня в прошлом году...

— А в этом?.. Так. А в будущем? Фу, черт, я хотел спросить, в позапрошлом? Селедки не ешь! Расстегни рубашку. Вот те градусник. Да не раздави, смотри. Казенный.

- Дрезина дожидается!
- Счас, счас, счас!.. Рецепт напишу только. У тебя инфлуенция, дядя. Отпуск тебе напишу на три дня. Как твоя фамилия? То есть я хотел спросить, ты женатый? Холостой? Какого ты полу?.. Фу, черт, то есть я хотел спросить, ты застрахованный?
- Дрезина ждет!
- Счас! Вот тебе рецепт. Порошки будешь принимать. По одному порошку. Селедки не ешь! Ну, до свидания.
- Покорнейше вас благодарю!
- Дрезина...
- Да, да, да... Еду, еду, еду...

2

- Через три дня в квартире доктора.
- Маня, ты не видела, куда я градусник дел?
- На письменном столе.
- Это мой. А где же казенный, с черной шапочкой? Черт его знает, очевидно, потерял. Потерял, а шут его знает где. Придется покупать.

3

Через пять дней на станции сидел человек в куртке с бугром под левой мышкой и рассказывал:

— Замечательный врач! Прямо скажу: выдающийся врач! Ну, до чего быстрый, как молния. Порх-порх... Сейчас, говорит, язык покажи, пальцем в живот ткнул. Я свету не взвидел... Все выпросил, когда да как... Из кассы 4 с полтиной выписал.

— Ну, что ж, вылечил? Капли, наверное, давал. У него капли есть замечательные.

— Да, понимаешь, не каплями. Градусником. Вот тебе, григ, градусник, носи на здоровье, только не раздави — казенный.

— Даром?

— Ни копейки не взял за градусник. Страхкассовый градусник.

— У нас хорошо. Зуб Петюкову вставили фарфоровый, тоже даром.

— И помогает градусник?

— Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день после градусника полегчало. Опять же голова две недели болела: как вечер, так и сверлит темя, сверлит... а теперь, с градусником — хоть бы что!

— До чего наука доходит!

— Только неудобно чрезвычайно при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там, сукин сын.

— Дай мне поносить.

— Ишь ты хитрый!

МИХАИЛ

«Гудок», 16 июля 1925 г.



ПО ПОВОДУ БИТЬЯ ЖЕН

Лежит передо мной замечательное письмо. Вот выдержки из него: «Я — семьянин, а потому знаю, что большая часть семейных сцен разыгрывается на почве материальной необеспеченности. Жена пищит: «Вот-де, посмотри на таких-то знакомых, как они живут!..» Подобного рода аргументация доводит до белого каления. Беда, если глава семьи слаб на руку и заедет в затылок!..

Вот в этом случае, по моему мнению, до некоторой степени полезно обратиться в местком, но не с жалобой, а за советом, и не с тем, чтобы проучить драчуна, а с тем, чтобы устранить причину, вызывающую семейную ссору... Местком — не судья, но, как союзный орган, на обязанности которого лежит, между прочим, забота о благосостоянии членов, может изыскать средства, помочь угнетаемой возбуждением, например, ходатайства о предоставлении угнетателю службы, более обеспечивающей его существование...»

*

Дорогой товарищ семьянин! Позвольте вам нарисовать картину в месткоме после проведения в жизнь вашего проекта:

Является некий семьянин в местком:

— Вам что?

— Жену сегодня изувечил.

— Так-с, чем же вы ее?

— Тарелкой фабрики бывшего Попова.

— Э, чудак! Кто ж тарелками дерется? Посуда денег стоит. Взяли бы кочергу. Ведь, чай, расхлопали тарелку?

— Понятное дело. Голову тоже.

— Ну, голова дело десятое. Голова и заживет, в крайнем случае. Ведь вы, надеюсь, не насмерть уходили вашу супругу?

— Ништо ей!

— Ну, вот, а тарелочка не заживет. Бесхозяйственная вы личность. По какому же поводу у вас с супругой дискуссия вышла? На какую тему вы ее били?

— Да... кха... Жалованье нам вчера выдали. Ну, понятное дело, зашли мы с кумом...

— В пивную?

— Конечно. Ну, попросили парочку... Затем еще парочку. Потом еще парочку...

— Вы дюжинами считайте, скорее будет.

— М-да... выпили мы, стало быть... Пошли опять...

— Домой?

— То-то, что к Сидорову... Мадеру у него пили...

— Тэк-с... Дальше...

— Дальше я где-то был, только, хоть убейте, не помню где. Утром сегодня являюсь, а эта змея пристает...

— Виноват, это кто же змея?

— Жена моя, понятно. Где, говорит, жалованье, пьяница? Слово за слово... Ну не стерпел я...

— Да... Что ж с вами делать? По какому вы разряду?

— По 9-му.

— Ну, ладно, получайте 10-й!

— Покорнейше благодарю!..

*

Из десятого, после того как он своей змее руку сломал, — в 12-й. Тогда он ей ухо откусил — в 16-й. Тогда он ей глаз выбил сапогом — в 24-й разряд тарифной сетки. Но в сетке выше разряда нету. Спрашивается, ежели он ей кишки выпустит, куда ж его дальше?

— Персональную ставку давать?

— Ну нет, это слишком жирно будет!

*

Был человек начальником станции, сломал три ребра жене, его сделали ревизором движения! Тогда он ее и вовсе

на смерть ухлопал. Ан все высшие должности заняты. Спрашивается, как его наградить? Придется деньгами выдать.

★

Нет, семьянин! Ваш проект плохой. Бьют жен вовсе не от необеспеченности. Бьют от темноты, от дикости и от алкоголизма, и никакие другие разряды тут не помогут. Хоть начальником тяги сделай драчуна, все равно он будет работать кулаками.

Иные средства нужны для лечения семейных неурядиц!

МИХАИЛ

«Гудок» 18 июля 1925 г.



НЕГРИТЯНСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

ПИСЬМО РАБКОРА ЛАГА

Когда читаешь в разных газетах про избивание негров в Америке, то не особенно бываешь поражен, потому что в цивилизованных странах это — явление жизни.

Но когда происходит происшествие в нашей стране, то бываешь поражен до мозга костей! В социалистическом государстве по морде лупить никого нельзя, хотя бы это было лицо Кириллыча.

Итак, 19 июля с.г. был день величайшего торжества, а равно величайшей горести всех жен и детей. Именно: произошла получка, и буфет на станции Рязск-1 наполнился нашими ответственными работниками до отказа. В числе их удостоил буфет своим визитом ответственный наш кооперативный работник некто В. Раз!

Засим член месткома, он же член упробюро, он же известный скандалист, он же алкоголик, чрезвычайно знаменитая личность, фамилия которого на букву Ха. Два!

Три — бывший член союза Корелин. Ничего особенного, довольно симпатичная личность, не прославившая себя выдающимися подвигами в республике, преимущественно монтер.

И, в-четвертых, разные другие личности.

В общем, сели они за столики и напились до предельной нагрузки, по 420 пудов на ось, а засим и выше, отчего у них началось горение шеек и букс.

Первым сошел с рельсов именно наш кооперативный деятель и громогласно заявил:

— Братцы! Мне начинает казаться, что мы не на станции Рязск, а в Америке, в городе Чикаго!

Почему ему померещилось Чикаго, кто его знает.

Остальные заревели, как дети, брошенные матерью:

— Пропали мы теперь! Не достать нам, видно, больше русской горькой!

— Вы ошибаетесь, как рыба об лед! — объявил им наш кооператор и рявкнул:

— Псст! Эй, негр!

И появился официант Кириллыч. Никакой он не негр, а обыкновенный белый человек.

— Что угодно?

— Дай нам бутылочку русской горькой.

— Сию минуту!

И через некоторое время подает бутылку русской горькой и при этом заявляет:

— Пожалуйста деньги...

Тут вся компания возмутилась до самого дна.

— Как, ты нам не доверяешь?

— Да ты знаешь ли, кто такие мы?

А Кириллыч возьми да ответь:

— Очень хорошо знаю (как ему не знать!). Он-де оттого и деньги спросил.

Тут поднялся наш разъяренный кооператор В. и крикнул:

— Ах, так?

И при этом урезал своим кооперативно-ответственным кулаком Кириллыча по уху так, что у всей публики в 1-м классе из глаз посыпались искры.

После чего произошел скандал.

Как вы смотрите на такие происшествия, товарищ?

Рабкор Лаг

Мы смотрим на такие происшествия крайне отрицательно, поэтому и печатаем ваше письмо.

МИХАИЛ

«Гудок», 25.июля 1925 г.



ДРОЖЖИ И ЗАПИСКИ

Вся эта история целиком помещается в корзине для ненужных бумаг Муромского Ражпо и состоит из трех записок.

Записка первая

Георгий Никифорович!

Знаю скверное положение Б. Н. Петрова, просил бы тебя при случае устроить хотя бы куда-нибудь. Он человек старательный.

Н. Лихонин

Записка вторая

Товарищ Кузнецов!

Еще я тебя прошу, если можно, то устрой парня, очень старательный, и если можно, то прошу не отказать.

Кириллов

Записка третья

Резолюция Г. Н. Кузнецова:

В местком служащих на согласование, 21/V.

Кузнецов

Ну, что ж тут особенного! Что-то с парнем случилось — попал он в скверное положение и пришлось ему прибегнуть к протекции.

Каковую он и получил. Просил за него у Георгия Никифоровича и Лихонин (помощник ТМ мастерских), и Кириллов (из ЖК-15), и Кузнецов резолюцию поставил.

Вот и все.

Впрочем, нет, не все.

Записка четвертая

В газету «Гудок» рабкора № 68.

Дорогие товарищи!

Обнаружил я записки Лихонина, Кириллова и выше упомянутую резолюцию. Пишут они, что он старательный.

Действительно, старательный.

Ха-ха-ха!

Поступив по запискам на службу в кооператив, Петров прослужил полтора месяца и до того достарался, что получил 12 июля сего года от администрации 80 рублей для покупки дрожжей. Каковые 80 (восемьдесят) рублей пропил до последней копейки, вследствие чего пекарня осталась без опары.

Ха-ха-ха!

Поздравляю наших протекционистов.

Подпись

Записка пятая

И я тоже поздравляю. Так вам и надо. Не развивайте протекционную систему на транспорте, не строчите записок кому попало. Не ходите черным ходом.

МИХАИЛ

«Гудок», 30 июля 1925 г.



КОГДА МЕРТВЫЕ ВСТАЮТ ИЗ ГРОБОВ

В наш век чудес не бывает

Общепризнано

Тем не менее в Кисловодске произошла история, от которой волосы встают дыбом...

Но будем рассказывать по порядку:

17 июня 1925 года на 8-й год революции на крыльцо дома № 46 по Шоссейной улице в гор. Кисловодске вышел квартирующий в означенном номере гражданин Корабчевский, бывший стрелок ЖОХРа, и громко зарыдал.

Сошлись добрые люди и стали спрашивать:

— Корабчевский, Корабчевский, чего ты рыдаешь, бывший стрелок?

На что тот ответил.

— Как же мне, бывшему стрелку, не рыдать, если сейчас младенец мой, Виталий, дорогой мой сыночек, помер!

Бабы завыли, стали расспрашивать:

— Экая оказия, от чего?

— От воспаления легких, — сказал Корабчевский, размазывая по лицу слезы.

Посочувствовали все Корабчевскому и разошлись, а бедный папаша отправился оформлять смерть своего наследника.

И младенчик помер по всей форме.

Доказательством тому служат официальные документы.

Так, например, на бумаге со штампом горисполкома Кисловодска за № 391 от 18 июня с. г. значится:

СПРАВКА

Кисловодский стол ЗАГС сим удостоверяет, что гр. Корабчевский Виталий 9 месяцев умер 17 июня с. г. от воспаления легких. Акт записан № 163.

Подпись: завед. столом ЗАГС

Лидовский

И с подлинным тоже верно:
Счетовод минералводской учстрахкасы
(подпись: неразборчиво)

Этого мало. Он не только помер, но и погребен был. И это видно из свидетельства Кисловодского отдела записей актов гражданского состояния, где значится, что ребенок мужского пола Корабчевский Виталий погребен на братском кладбище.

Точка! Лучше помереть трудно.

И однако...

Была зловещая лунная ночь над Кисловодском через несколько дней после погребения Корабчевского-сына.

И вот шел сосед Корабчевского в самом радостном расположении духа, посвистывал, и совершенно трезвый, и видит — стоит возле корабчевской квартиры странного вида женщина, вся в белом, а лицо у нее зеленое от луны. И на руках у нее сверток, а в свертке что-то небольшое. Подошел сосед и говорит:

— Кто это?... Ах, это вы, мадам Корабчевская?

А та отвечает гробовым голосом:

— Да, я.

— А что это у вас на руках? — спросил сосед с удивлением.

— А это, — ответила женщина глухо, — мой покойный младенец Виталий.

— Как Виталий? — спросил сосед и почувствовал, что мурашки поползли у него по спине, — ведь Виталия же вашего па-па-па-хоро-нили?

— Да, — ответила женщина, — а он взял да и пришел обратно.

И в это время лунный луч скользнул по пеленочному конверту, и видит сосед, что на руках у женщины действительно Виталий, и лицо у него в зеленоватой тени тления мертвого.

— Караул! — закричал сосед и кинулся бежать по Шоссейной улице.

Луна глядела из-за кипариса рожей покойника, и соседу чудилось, что холодные руки хватают его за штаны.

Через час наиболее смелые из кисловодцев стояли у кры-

лечка корабчевского дома. И вышел к ним сам Корабчевский и рассказал такую историю:

— Сидим мы с женой позавчера и вдруг слышим стук окошка, выглянули мы и чуть не померли на месте. Стоит Виталий на воздухе, не касаясь земли, и говорит: «А вот я и пришел!»

— С нами крестная сила! — взвыл кто-то из бабьего элемента.

— Ну?! — закричали мужчины.

— Ну и больше ничего, — ответил Корабчевский, — пришлось его принять обратно.

В толпе началось смятение. Лица в лунном свете у всех позеленели. Но в это время луна зашла за облачко и скрыла в глубокой тьме окончание этой жуткой истории.

*

В редакции «Гудка» теперь у нас смятение тоже.

Кто кричит — «Чудо!». Кто кричит — «Ничего не понимаю», кто говорит — «Расследовать надо!». Вообще, хоть работу бросай.

В самом деле, история ведь гробовая. Проще всего было бы предположить, что Виталий вовсе не помирал, но тогда, позвольте, на каком основании лекпом Борисов, проживающий по Николаевской ул. в д. 11, дал ему удостоверение о смерти и на каком основании учстрахкасса выдала на погребение живого человека 17 р. 10 к.?!

А может быть, он не воскресал?

Может быть, сосед наврал, может быть, фельетонист сочинил про луну и покойника?

— Позвольте, как же не воскресал, когда сотрудник Минераловодской учстрахкасы Владимир Иванович Николаев пишет:

«Выяснилось, что никто из членов семьи указанного т. Корабчевского не умирал, что последний, заручившись документом, незаконно получил пособие на погребение».

Нет, жуткие дела творятся в городе Кисловодске!

МИХАИЛ

«Гудок», 8 августа 1925 г.

КУЛАК БУХГАЛТЕРА

Пьеса

(может идти вместо «Заговора императрицы»)

ПРОЛОГ

Дверь с надписью «Мужская уборная» в управлении Уссурийской ж. д. в гор. Хабаровске хлопнула, вышел помощник главного бухгалтера Жуков, застегнул китель, подошел к курьерше и, хлопнув ее кулаком, произнес такой спич:

— Не читай во время дежурства книг! Не читай! Это дело не курьерское, а смотри, что делается в уборной! В уборной!!!

Курьерское дело маленькое: заорать, когда тебя бьют.

Курьерша так и сделала. И слетелся со всех сторон народ.

— Жалуйся, тетка, в местком, — кричал раздраженный народ.

И тетка пожаловалась.

МЕСТКОМОВО СУДИЛИЩЕ

Действующие лица:

Ш м о н и н — предместкома (грим средних лет, серые брючки, штроблеты на шнурках, выражение лица умное)

Г у д з е н к о — член месткома (грим обыкновенный, в глазах сильное сочувствие компартии, на левой стороне груди два портрета, на правой значки Добрхима и Добрфлота, а в кармане книжка «Друг детей»).

Ж у к о в — побивший. Симпатичный.

К у р ь е р ш а — обыкновенная. В платке.

П у б л и к а — статисты из месткома

Сцена представляет помещение месткома

Ш м о н и н (*звонит в колокольчик*). Тише! Итак, дорогие товарищи, перед нами факт о якобы побитии курьерши Токаревой нашим уважаемым бухгалтером Жуковым.

К у р ь е р ш а. Как это якобы, когда у меня синяк!

Ш м о н и н. Ваше слово впереди. Попрошу вас помолчать. Спрячьте ваш синяк в карман.

К у р ь е р ш а *(рыдает)*.

П у б л и к а *(сочувствует ей)*.

Ш м о н и н. Тиш-ше! Итак, граждане, разберемся в вышеуказанном прискорбном явлении нашего быта. Что перед нами возникает? Возникает вопрос — какой это пистолет написал нашей курьерше заявление в суд месткома?

П у б л и к а *(изумлена)*.

Ш м о н и н. Какое это крапивное семя сеет смуту в советском государстве, натравливая одну часть народонаселения против другой? Ась?

К у р ь е р ш а. Какое ваше дело, кто писал? Он меня побил, и больше ничего.

П у б л и к а *(гудит)*.

Ш м о н и н. Прошу не гудеть! Отвечай, тетя, суду, кто писал?

К у р ь е р ш а *(упорствуя)*. Не скажу!

Ш м о н и н *(зловеще)*. Ты, тетка, смотри, с судом разговариваешь. Кто писал?

К у р ь е р ш а. На огне жгите, не скажу.

П у б л и к а *(шепотом)*. Это ей рабкор Кузькин писал. Не выдавай, тетка, товарища!

Г о л о с с г а л е р к и. Тетка Токарева, держись! Не выдавай рабкора на съедение.

К у р ь е р ш а. Хучь пытайте, не скажу.

Г о л о с с г а л е р к и. Bravo, Токарева!

Ш м о н и н. Кто бунтует на галерке? Вывести его, подстрекателя! *(Курьерше.)* Так не скажешь?

К у р ь е р ш а. Нет.

П у б л и к а. Молодец!

Ш м о н и н *(тихо Гудзенке)*. Ишь, железная баба. *(Громко.)* Ну, ладно, мы и без тебя обнаружим этого субчика, который вносит раскол в учреждение. Мы ему покажем! Ну, ладно, переходим дальше. Товарищ Токарева заявляет, что тов. Жуков ее побил. Ну, что тут особенного, товарищи? Я понимаю, если Токарева была бы интеллигентная дама, графиня или княгиня, ну, это дело десятое! Тогда, конечно, хлестать бухгалтерскими кулаками по графининой морде,

верно, неудобно. Дама в обморок может упасть. А поскольку перед нами курьерша, подумаешь, велика беда.

П у б л и к а. Вот так рассудил!!

Ш м о н и н. Слово предоставляется защитнику тов. Жукова, уважаемому тов. Гудзенке.

Г у д з е н к о (*одергивая куртку*). Возьмем факт с медицинской точки зрения. Тут говорят: Жуков ударил, Жуков побил, то да се... Да вы гляньте на Жукова (*все глядят на Жукова с любопытством*). Посмотрите, какой он щуплый, хилый, ведь он одной ногой в гробу стоит.

Ж у к о в (*обиженно*). Сам ты в гробу стоишь, говори, да не заговаривайся!

Г у д з е н к о. Пардон! Вообще Жуков интеллигентный человек, сознательная личность, он даже газету выписывает, ну, разве он может как следует ударить? Вы поглядите на курьершу (*все глядят на курьершу с любопытством*). Ведь это что? Физиономия... (*раздвигает руки на аршин*). Во физиономия! Руки! Ноги! Да ведь это не женщина, а прямо-таки чугунный памятник! Да ее ежели кулаком ударить, кулак рассыплется. Ее кочергой бить надо! Ну, какой он ей вред причинил?

К у р ь е р ш а. Да у меня синяк!

Ш м о н и н. Ну, приложи к синяку пятак, он у тебя до свадьбы заживет. Итак, суд удаляется на совещание (*удаляется с Гудзенкой и с Гудзенкой же возвращается*). Тише! Суд вынес решение (*торжественно*): ввиду того, что Жуков Токаревой никакого особенного повреждения не причинил, считать Токареву не побитой. Жукову выразить месткомово порицание, но, принимая во внимание интеллигентность Жукова и хилое его сложение, считать порицание условным в течение пятнадцати лет. С Жукова взыскать в пользу Токаревой один медный пятак для приложения его к синяку, с тем, чтобы по выздоровлении Токарева вернула пятак Жукову с процентами. Суд кончен!

Г о л о с с г а л е р к и (*среди общего гула*). Тетка Токарева, жалуйся в нарсуд! Это безобразие! (*Шум.*)

Занавес падает

МИХАИЛ

«Гудок», 9 августа 1925 г.

КАК НА ТЕТКИНЫ ДЕНЬГИ МЕСТКОМ ПОДАРОК КУПИЛ

На станции Завитая Уссурийской дороги имеется бедная вдова — гражданка Силаева. Дело вдовье трудное, как известно. Вдове тоже нужно кушать и пить. Мыкалась вдова, мыкалась и обратилась в местком.

— Дайте мне службу, товарищи.

Местком внял просьбам вдовы и устроил ее на место тут же в месткоме.

Должность легкая и прекрасная.

Вдову призвали и сказали:

— Тетка! Будешь пять печей топить, пять коридоров мыть, а равно и пять полов. Мусор будешь убирать ежедневно. А чтобы тебе не было скучно, еще будешь носить воду.

— А сколько жалованья? — спросила вдова, шмыгая носом.

Месткомщик, по фамилии Моложай, сделал арифметический подсчет:

— Пять коридоров помножить на пять печей, прибавить пять бочек мусора и разделить на пять кадушек воды, равняется 5 рублей.

И объявил тетке Силаевой результат:

— Будешь получать 5 рублей в месяц.

— Благодетели вы наши! — завывала тетка и ухватилась за половую тряпку.

Тетка не расставалась с тряпкой 10 месяцев. Тетка носила, тетка таскала, тетка мыла, тетка прибирала.

На одиннадцатый месяц ей заявили: тетка, мы тебя на новую квартиру переводим, а в твою прежнюю комнату пробиваем дыру.

— Благодетели вы наши! — завывала она.

Дыру пробили, тетку перевели и тетке заявили:
— Нужно будет белить стены. Изволь начинать.
Тетка понеслась за известкой, побелила.
Приходит получать за побелку.
— Пять рублей тебе следует, — объявил т. Моложай.
— Благодетели вы наши! — завывала тетка.
— Только, тетя, — добавил Моложай, — на эти твои пять рублей мы купили портрет и подарили его железнодорожной комячейке.
— Благосе... — начала было тетка, но осеклась и добавила: — К-как же это портрет? Я, может, портрета-то и не хотела!
— Как не хотела? — сурово спросил Моложай. — Ты, тетка, думай, что говоришь. Как это портрета ты не хотела?
Тетка оробела.
— Ну, ладно, — говорит, — портрет так портрет. Только раз вы уж, красавцы, подарили на мой счет, так напишите на портрете: «Дар тетки Силаевой».
Моложай обиделся:
— Ты нездорова. На портрете писать про такого ничтожного человека, как ты, мы не будем.
Тут тетка уперлась.
— Не имеете права, мои деньги!
— Ты, тетка, глупа, — сказал Моложай.
— Да ты не ругайся, — ответила тетка, — деньги мои.
— Отлезь от меня, — сказал Моложай.
— Мои деньги, — несколько истерически заметила тетка.
Тут Моложай рассердился окончательно.
То, что дальше произошло, — неизвестно, потому что в корреспонденции рабкора сказано глухо:
«Товарищ Моложай наговорил ей кучу дерзостей».
Дальше мрак окутывает историю.

*

Но есть приписка к корреспонденции рабкора:
«Добрые люди учка и дорпрофсожа, распорядитесь, чтобы местком уплатил жалованье Силаевой с 1 января по

1 октября 1924 г., когда она была в месткоме, мыла полы и таскала воду, по настоящей, правильной расценке.

Во-вторых, нужно тетке уплатить пять рублей и разъяснить месткомщику Моложаю, что на чужие рабочие деньги дарить портреты нельзя. Это называется — эксплуатация».

МИХАИЛ

«Гудок», 14 августа 1925 г.



ВЫБОР КУРОРТА

Хвала тебе, Ай-Петри, великан,
В одежде царственной из сосен.
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин.

Из какого-то рассказа

НЕВРАСТЕНИЯ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвай сесть нельзя — почему так мало трамваев! Целый день мучительно хочется пива, а когда доберешься до него, в небо вонзается воблина кость, и, оказывается, пиво никому не нужно. Теплый в голове встает болотный туман, и хочется не моченого гороху, а ехать под Москву в Покровское-Стрешнево.

Но на Страстной площади, как волки, воют наглесы с букетами, похожими на конские хвосты.

На службе придираются: секретарь — примазавшаяся личность в треснувшем пенсне — невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик!

Служивцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах.

Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы и мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требует деньги. На общие собрания идти не хочется, а в Аквариуме какой-то дьявол в светлых трусиках ходит по проволоке и юродство его раздражает до невралгии.

Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел и ему, кто бы он ни был, бухгалтер ли, журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым. В какое именно место Крыма?

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ЗАГАДКА

— Натурально в Коктебель, — не задумываясь, ответил приятель, — воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни, Карадаг, красота!

В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Пречистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отливающих мух.

— Я еду в Коктебель, — сказал я второму приятелю.

— Я знаю, что вы человек недалекий, — ответил тот, закуривая мою папиросу.

— Объяснитесь?

— Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.

— Какого ветру?

— Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд.

Ушел я от него.

— Я в Коктебель хочу ехать, — неуверенно сказал я третьему и прибавил: — Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю.

Посмотрел он удивленно и ответил так:

— Счастливцев! Море, воздух, солнце...

— Знаю. Только вот ветер. Зунд.

— Кто сказал?

— Катошихин.

— Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд — такого и ветра нет.

— Ну, хорошо.

Дама сказала:

— Дует, но только в августе. Июль — прелесть.

И сейчас же после нее сказал мужчина:

— Ветер в июне — это верно, а июль — август будете как в раю.

— А черт вас всех возьми!

— Никого ты не слушай, — сказала моя жена, — ты издергался, тебе нужен отдых...

Я отправился на Кузнецкий мост и купил книжку в ядовито-синем переплете с золотым словом «Крым» за 1 руб. 50 коп. Я, патентованный городской чудаков, скептик и неврастеник, боялся ее читать. Раз путеводитель, значит, будет «хвалить».

Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидели на странице 370-й (Крым. Путеводитель. Под общей редакцией члена президиума Моск. Физио-Терапевтического Общества и т. д. Изд. «Земли и фабрики») буквально о Коктебеле такое:

«Причиной отсутствия зелени является «крымский си-

рокко», который часто в конце июля и августе начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до иступления доводит неврастеников. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель».

(В этом месте моя жена заплакала.)

«...Отсутствие воды — трагедия курорта, — читал я на странице 370-71, — колодезная вода соленая, с резким запахом моря...»

— Перестань, детка, ты испортишь себе глаза.

«... к отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобство сообщения, полное отсутствие санитарного надзора и дороговизну жизни...»

— Довольно! — нервно сказала жена. Дверь открылась.

— Вам письмо.

В письме было:

«Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.».

И мы поехали.

*Вечерний выпуск «Красной газеты» (Ленинград),
27 июля 1925 г.*



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

В СЕВАСТОПОЛЬ!

— Невозможно, — повторял я, и моя голова моталась, как у зарезанного, и стучалась о кузов. Я соображал, хватит ли мне денег? Шел дождь. Извозчик как будто на месте топтался, а Москва ехала назад. Уезжали пивные с красными раками во фраках на стеклах, и серые дома, и глазастые машины хрюкали в сетке дождя. Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую покупку, я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я запереть комнату...

*

«I-с» — великолепен. Висел совершенно молочный туман, у каждой двери стоял проводник с фонарем, был до прочтения плацкарты недоступен и величественен, по прочтении — предупредителен. В окнах было светло, а в вагоне-ресторане на белых скатертях — бутылки боржома и красного вина.

Коварно, после очень негромкого второго звонка, скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла в землю и умолкла.

Над головой висел вентилятор-пропеллер. Официанты были сверхчеловечески вежливы, возбуждая даже дрожь в публике! Я пил пиво баварское и недоумевал, почему глухие шторы скрывают от меня подмосковную природу.

— Камнями швыряют, сукины сыны, — пояснил мне услужающий, изгибаясь, как змея.

В жестком вагоне ложились спать. Я вступил в беседу с проводником, и он на сон грядущий рассказал мне о том, как крадут чемоданы. Я осведомился о том, какие места он счи-

тает наиболее опасными. Выяснилось — Тулу, Орел, Курск, Харьков. Я дал ему рубль за рассказ, рассчитывая впоследствии использовать его. Взамен рубля я получил от проводника мягкий тюфячок (пломбированное белье и тюфяк стоят три рубля). Мой московский чемодан с блестящими застежками выглядел слишком аппетитно.

«Его украдут в Орле», — думал я горько.

Мой сосед привязал чемодан веревкой к вешалке, я свой маленький саквояж положил рядом с собой и конец своего галстука прикрепил к его ручке. Ночью я, благодаря этому, видел страшный сон и чуть не удавился. Тула и Орел остались где-то позади меня, и очнулся я не то в Курске, не то в Белгороде. Я глянул в окно и расстроился. Непогода и холод тянулись за сотни верст от Москвы. Небо затягивало пушечным дымом, солнце старалось выбраться, и это ему не удавалось.

Летели поля, мы резали на юг, опять шли из вагона в вагон, проходили через мудрую и блестящую международку, ели зеленые щи. Штор не было, никто камнями не швырял, временами сек дождь и косыми столбами уходил за поля.

Прошли от Москвы до Джанкоя 30 часов. Возле меня стоял чемодан от Мерелиза, а напротив стоял в непромокаемом пальто начальник станции Джанкоя с лицом, совершенно синим от холода. В Москве было много теплей.

Оказалось, что феодосийского поезда нужно ждать 7 часов. В зале первого класса за стойкой, иконописный, похожий на завоевателя Мамай, татарин поил бессонную пересадочную публику чаем. Малодушные по поводу холода исчезло, лишь только появилось солнце. Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акации торчали в окнах. Парикмахер обрил мне голову, пока я читал его таксу и объявление.

— Кредит портит отношения.

Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советует, а лучше в тысячу раз в Отузах. Там — розы, вино, море, комнатка 20 руб. в месяц, а он там, в Отузах, председатель. Чего? Забыл. Не то чего-то кооперативного, не то потребительского. Одним словом, он и винодел.

Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматри-

вать Джанкой. Юркий мальчишка, после того как я с размаху сел в джанкойскую грязь, стал чистить мне башмаки. На мой вопрос, сколько ему нужно заплатить, лстиво ответил:

— Сколько хотите.

А когда я ему дал 30 коп., завыл на весь Джанкой, что я его ограбил. Сбежались какие-то женщины, и одна из них сказала мальчишке:

— Ты же мерзавец. Тебе же гривенник следует с проезжего.

И мне:

— Дайте ему по морде, гражданин.

— Откуда вы узнали, что я проезжий? — ошеломленно улыбаясь, спросил я и дал мальчишке еще 20 коп. (он черный, как навозный жук, очень рассудительный, бойкий, лет 12, если попадете в Джанкой, бойтесь его).

Женщина вместо ответа посмотрела на носки моих башмаков. Я ахнул. Негодяй их вымазал чем-то, что не слезает до сих пор. Одним словом, башмаки стали похожи на глиняные горшки.

Феодосийский поезд пришел, пришла гроза, потом стук колес, и мы на юг, на берег моря.

ЯЛТА

Но до чего же она хороша! Ночью близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, три огня — в семь, но уже не огней, а драгоценных камней... В кают-компании дают полный свет.

Ялта.

Вон она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.

Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножки их. Начинается суeta, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.

Конечно — Ялта!

Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт: на приезжих, т. е. я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.

По спящей, еще черной с ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец, — черт возьми.

Наверное, привел в самую дорожную гостиницу.

Так и оказалось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все заняты». Есть в три рубля.

— А почему электричество не горит?

— Курорт-с!

— Ну ладно, все равно.

В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким, как в ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть, — ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха, чем в Ялте.

*

Наутро Ялта встала, умытая дождем. На набережной суется больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настежь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тюбетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все в три голоса, все «по-куротному» и на все спрос. Мимо блестящих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.

МОРСКАЯ ЧАСТЬ

Хуже, чем купание в Ялте, ничего не может быть, т. е. я говорю о купании в самой Ялте, у набережной.

Представьте себе развороченную, крупнобулыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Не менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!) налеплены деревянные, вымазанные жиденькой

краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.

Само собой разумеется, что при входе на пляж сколочена скворечница с кассовой дырой и в этой скворечнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.

Диалог в скворечной дыре после купания:

— Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно.

— Хи-хи-хи.

— Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

— Что же мы можем поделать!

— Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал.

В ЛИВАДИИ

И вот в Ялте вечер. Иду все выше, выше по укатанным узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем, как игрушка с косым парусом, застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования.

Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко — лежит туман.

Здесь, среди выложенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый и низкий, шоколадно-штучный дворец Александра III,

а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II.

Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково — в белые шапочки, в белые куртки и штаны.

И в этот вечерний, вольный тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря — парковое зеленое, гигантскими уступами — сколько хватит глаз — падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло.

В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом).

Голова эта очень мрачно смотрит на вылощенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные.

*

Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный.

В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегая на свои полавки, и от этого вальс звучит особенно радостно.

Во всех кондитерских, во всех стекляннно-прозрачных лавчонках видно: пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.

Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб.

Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, — это развороченный в незапамятные времена погасший вулкан Карадаг, — с другой — между желто-бурыми, сверху точно по линейке срезанными грядками, переходящими в мыс — Прыжок козы.

В бухте — курорт Коктебель.

В нем замечательный пляж, один из лучших на крымской жемчужине: полоска песку, а у самого моря полоска мелких, облизанных морем разноцветных камней.

Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими «каменной болезнью». Приезжает человек, и если он умный — снимает штаны, вытряхивает из них московскую-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу.

Если не умный — остается в длинных брюках, лишаящих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!

Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душевных ущелий Москвы.

На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

— Посмотрите-ка, что я нашел!

— Замечательно, — отвечают ему двухнедельные старожилы, — в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторженность, — просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?

— Когда? — спрашивает наивный москвич.

— Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит, ты попробуй!

Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат грудками белые, серые и розоватые голыши, сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосках и рисунках.

По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках

лупится, физиономии коричневые. Сидят и роются, ползают на животе.

Не мешайте людям — они ищут фернампинксы. Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни, покрытые цветными глазками.

Не брезгуют любители и «пейзажными собаками». Так называют простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется.

— Вася, глянь-ка, что на собаке нарисовано!

— Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель...

— Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве.

Те, кто камней не собирает, просто купаются, и купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезает ломота и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные.

Только одно примечание: Коктебель не всем полезен, а иным и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроенной нервной системой.

Я разъясняю Коктебель: ветер в нем дует не в мае или августе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно, не бывает без ветра ничего, даже в жару. И ветер раздражает неврастеников.

Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький. Т. е. в нем сравнительно мало эспманов, но все-таки они есть. На стене оставшегося от довоенного времени помещения, поэтического кафе «Бубны», ныне, к счастью, закрытого и наполовину обращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись:

Нормальный дачник — друг природы.
Стыдитесь, голые уроды!

Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе при галстукке, пиджаке и брюках с отворотами.

Эти друзья природы прибывают в Коктебель и ныне из Москвы, и точно в таком виде, как нарисовано на «Бубнах». С ними и жены и свояченицы: губы тускло-малиновые, во-

лосы завиты, бюстгальтер, кремовые чулки и лакированные туфли.

Отличительный признак этой категории: на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, а позже, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти сидят на лавочках спиной к морю, лицом к кооперативу и едят черешни.

*

О голых уродах. Они-то самые умные и есть. Они становятся коричневыми, они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе не нужно и ездить. Нэпман ни за что не расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник. Ходят раздетыми, в трусиках комсомольцы, члены профсоюзов из тех, что попал на отдых в Крым, и наиболее смышленные дачники.

Они пользуются не только морем, они влезают на скалы Карадага, и раз, проходя на парусной шлюпке под скалистыми отвесами, мимо страшных и темных гротов, на громадной высоте на козьих тропах, таких, что если смотреть вверх, немного холодеет в животе, я видел белые пятна рубашек и красненькие головные повязки. Как они туда забрались?

Некогда в Коктебеле, еще в довоенное время застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, а ныне и вовсе бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера.

Три месяца сидел на полном пансионе студент, прославляя судьбу, распотолстел и написал акафист Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими фернам-пинксам.

«... и дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подолаы...»

Никаких подолов никто стыдливо не поднимает. В жаркие дни лежат обожженные и обветренные мужские и женские голые тела.

Пароход «Игнат Сергеев», одноклассный, двухклассный (только второй и третий класс), пришел в Феодосию в самую жару — в два часа дня. Он долго был у пристани моравентства. Цепи ржаво драли уши, и вертелись в воздухе на крюках громадные кубы прессованного сена, которые матросы грузили в трюм.

Гомон стоял на пристани. Мальчишки-носильщики гротали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек, на диваны. Кают-компания, где есть пианино и фисгармония.

Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало, а почему — об этом ниже. «Игнат», постояв около часа, выбросил таблицу «отход в 5 ч. 20 мин.» и вышел в 6 ч. 30 мин. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторе подул свежестью...

Буфетчик со своим подручным (к слову: наглые, невежливые и почему-то оба пьяные) раскинули на столах скатерти, по скатертям раскидали тарелки такие тяжелые и толстые, что их ни обо что нельзя расколотить, и подали кому бифштекс в виде подметки с синим картофелем, кому половину костлявого цыпленка, бутылки пива. В это время «Игнат» уже лез в открытое море.

Лучший момент для бифштекса с пивом трудно выбрать. Корму (а кают-компания на корме) стало медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опускать куда-то очень глубоко.

Первым взяло гражданина соседа. Он остановился над своим бифштексом на полдороге, когда на тарелке лежал еще порядочный кусок. И видно было, что бифштекс ему понравился. Затем его лицо из румяного превратилось в прозрачно-зеленое, покрытое мелким потом.

Нежным голосом он произнес:

— Дайте нарзану...

Буфетчик с равнодушно-наглыми глазами брякнул перед ним бутылку. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косо понесло по ковровой дорожке.

— Качает! — весело сказал чей-то тенор в коридоре.

Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула, как куль, на диван.

Мерно... вверх... подпирает грудобрюшную преграду... вниз...

«Черт меня дернул спрашивать бифштекс...»

Кают-компания опустела. В коридоре, где грудой до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеющая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице:

«Ох... говорила я, что нужно поездом в Симферополь...»

«И на какого черта я брал билет второго класса, все равно на палубе придется сидеть». Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, т. е. палубы. Там уже был полный разгар. Старуха-армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались.

Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий, как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал:

— Ничего, ничего. Дань морю. — Волна шла (издали, из Феодосии, море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с хорошую футбольную площадку, порой с растрепанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под «Игната», и нос его лез... ле-ез... ох... вверх... вниз.

Садился вечер. Мимо плыл Карадаг. Сердитый и чернеющий в тумане, и где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай. Пробовал смотреть в небо — плохо. На горы — еще хуже. О волне — нечего и говорить...

Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубу и стал засыпать... Горы еще мерещились в сизом дыму.

У АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА

В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими улочками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчо-

нок и белых скученных дач, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием.

Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень вежливая и приветливая. Это — Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

КАК СТРАННО ЗДЕСЬ

В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов, устала и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, долго жила в ней.

В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном — он девятиных годов — живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда».

На другом — сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

— Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него, сидели многие: Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художественного театра актеры приезжали к нему репетировать.

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут: Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись — вещь никому не нужная.

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись:

«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... кра...»

Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные: от этого

в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом, белоснежный диван, над диваном картина Левитана: зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом.

При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать.

— В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает: «Ну как вы находите, Антон Павлович?»

А тот был очень деликатный, совестился сказать, что ерунда. Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, хорошо... Работайте». Не то что Шаляпин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете!»

В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов, — и его рукой написано «phenal...» и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье называли насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду».

НА АВТОМОБИЛЕ ДО СЕВАСТОПОЛЯ

Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурсо. Я пожелал сэкономить два рубля и «сэкономил». Обратился в какую-то артель шоферов. У Крымкурсо место до Севастополя стоит 10 руб., а у этих 8.

Бойкая личность в конторе артели, личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину — я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все были с разных. Правое колесо было «Мерседеса» (переднее), два задних были

«Пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой! Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер — какая-то рвань.

Все это гроыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.

И протестовать поздно, и протестовать бесполезно.

Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде.

Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности.

Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек — 8 пассажиров с багажом и три шофера — двое действующих и третий — бойкое существо в синей блузе, кажется, «автор» этой первой по быстроходности машины, в полном смысле слова «интернациональной». И мы понеслись.

В Гаспре «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались.

Заключенный в трубу, бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали, как ящерицы на солнце. Зелень, океан, уступы, скалы...

Шина лопнула в Мисхоре. Вторая в Алупке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы нэпманскими дамами.

Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красу Южного берега.

СЕВАСТОПОЛЬ. И КРЫМУ КОНЕЦ

Под вечер обожженные, пыльные, пьяные от воздуха катили в беленький раскидистый Севастополь, и тут ощутил тоску: «Вот из Крыма нужно уезжать».

Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клочок из пледа. Все-таки при этой дьявольской езде машина «лизнула» крылом одну из мажар.

Лихие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усеянного звездами Севастополя в теплый и ароматный вечер с тоскою и сожалением уехали в Москву.

Вечерний выпуск «Красной газеты» (Ленинград),

3 августа 1925 г.

10 августа 1925 г.

22 августа 1925 г.

24 августа 1925 г.

31 августа 1925 г.



ПОЖАР

(С п а т у р ы)

Сцена представляет темную ночь на станции Ржев-2 М.-Б.-В. ж. д. Неожиданно косая молния и выстрел — ба-бах!

Г о л о с а г е н т а о х р а н ы. Православные!.. Пакгауз на товарном дворе горит! (*Выстрел — ба-бах!*) Го! Го! Го! Го! Пакгауз! (*Выстрел — ба-бах!*) Горит! Люди добрые! Пакгауз горит! (*Выстрел.*) Караул! (*Выстрелы — ба-бах! ба-бах! бах, бах, бах!!*) На тебе еще раз...

(На небе зловещая розовая полоса.)

Г о л о с К о м а р о в а. Что случилось?

Г о л о с а г е н т а о х р а н ы. Товарищи! Бей тревогу! Пакгауз горит.

(Зарево, виден Комаров — он в одном белье.)

К о м а р о в. Батюшки. По-жарные! Пожарные!! (*Танцует на месте.*) Пожарные, чтоб вам сдохнуть! Пакгауз горит...

1-й п о ж а р н ы й н а к а л а н ч е (*вниз*). Васька, бей тревогу, на товарном горит!

2-й п о ж а р н ы й (*внизу*). Горит? (*Бом! бом! бом!*)

1-й. Да бей же! Полыхает. Ух! Занялось. Бей, Васька!

2-й. Бом-дин, дили-бом... Загорелся кошкин дом! (*В отчаянии.*) Сидят, сукины сыны, как насекомые.

К о м а р о в (*врываясь*). Батюшки! Где ж брандмейстер-то? Братцы, вставайте. Караул, горим! (*Храп.*) Товарищ брандмейстер, гражданин Соловьев, вставайте. Голубчик, вставайте! Миленький.

Б р а н д м е й с т е р (*сквозь сон*). М-м...

К о м а р о в. Красавчик мой, вставай. Ржев-второй горит. (*В окнах багровое зарево — светло, как в полдень.*)

Б р а н д м е й с т е р. Эм... ня... ня...

К о м а р о в *(воет)*.

Б р а н д м е й с т е р. Какая гнида над ухом воет? Ни минуты покоя нету: кто ты такой?

К о м а р о в. Комаров я. Голубчик! Комаров.

Б р а н д м е й с т е р. Какого же ты лешего людей будишь? А? Только что лег, глаза завел, — на тебе! Дня на вас нету, пострелы. Чтоб тебя громом убило. Я б тебя... Трах! Тарахах!! Тах!..

К о м а р о в. Миленький... Пакгауз...

Б р а н д м е й с т е р. Уйдешь ты или нет?

К о м а р о в. Пакгауз...

Б р а н д м е й с т е р. Э, ты, я вижу, не уймешься *(швыряет в него сапогом)*. Вон!

(Храп пожарных. За сценой слышно, как рушится потолок в пакгаузе. Женский вопль. За окном пробегает баба с иконой.)

Б а б и й г о л о с. Пропали, головушки горькие!

К о м а р о в *(с плачем бросается к телефону)*. Город! Город, барышня. Даешь пожарную команду! Горим!

Г о л о с в т е л е ф о н е. Который тут горит? Счас! Сей минуту.

За сценой грохот колес.

Т р у б а. Там-тара-рам. Там-тара-рам.

Г о л о с а з а с ц е н о й. Сидорчук, качай. Качай, в мать, в душу... тара-рах... Осади! Рви его крюками. Федорец, дай в зубы этому мародеру. Публика, осади назад. Где ж ваша-то команда?

Г о л о с К о м а р о в а. Спят они. Добудиться не можем.

Г о л о с. Ах, сукины коты! Павленко, качай, качай *(рев воды)*.

Б р а н д м е й с т е р *(просыпается)*. Как будто шум?

П о ж а р н ы е *(просыпаются)*. Горит как будто? *(В окнах зарево угасает.)*

Б р а н д м е й с т е р. Что же вы спите, поросята... Ванька! Васька! Митька! Вставай, запрягай! Где мои штаны?

Г о л о с а. Не надо. Потушили...

Б р а н д м е й с т е р. Кто?

Г о л о с. Городская.

Б р а н д м е й с т е р. Вот черти. И какие быстрые. И до
всего им дело есть. Ну, ладно. Раз потушили, слава
Богу. *(Ложится и засыпает. Храп. Тьма.)*

МИХАИЛ

«Гудок», 19 августа 1925 г.



ТАРАКАН

Ах, до чего замечательный город Москва! Знаменитый город! И сапоги знаменитые!

Эти знаменитые сапоги находились под мышкой у Василия Рогова. А сам Василий Рогов находился при начале Новинского бульвара, у выхода со Смоленского рынка. День был серый, с небом, похожим на портянку, и даже очень легко моросило. Но никакой серости не остановить смоленского воскресенья! От Арбата до Новинского стоял табор с шатрами. Восемь гармоний остались в тылу у Василия Рогова, и эти гармонии играли разное, отравляя душу веселой тоской. От Арбата до первых чахнувших деревьев в три стены стоял народ и торговал вразвал чем ни попало: и Львом Толстым, босым и лысым, и гуталином, и яблоками, штанами в полоску, квасом и Севастопольской обороной, черной смородиной и коврами.

Если у кого деньги, тот чувствует себя, как рыба в море, на Смоленском рынке. Искупался Василий Рогов в океане и поплыл с сапогами и финским ножом. Сапоги — это понятно. Сапоги давно нужно было купить, ну а финский нож к чему? Купился он сам собой как-то.

Когда Рогов отсчитал два червя за сапоги в палатке, вырос из-под земли человек с кривым глазом и почему-то в генеральской шинели и заметил гнусаво:

— Сапоги купили, папаша! Отличные сапоги. Ну а такой финский нож вы видали?

И тот сверкнул перед Роговым убийственной сталью...

— Не нужно, — сказал Рогов, уминая под мышку сапоги.

— Шесть рублей финка стоит, — сообщил человек, — а отдаю за четыре, и только по случаю ликвидации лавки.

— Никакой у тебя лавки нет, — возразил с презрением

Рогов и подумал: «Сколько этих жуликов на Смоленском! Ах, Боже мой!»

— Таким ножом, если махнуть человеку под ребро, — сладостно заговорил человек, пробуя пальцем коварное лезвие, — то любого можно зарезать.

— Ты смотри, тут и милиционеры есть, — ответил Рогов, пробираясь в чаще спин.

— Берите ножик, отец, за три с полтиной, — гнусавил человек, и дыхание его коснулось крутой шеи Василия Рогова, получившего неизвестно за что в пекарне обидное прозвище Таракан. — Вы говорите цену, папаша! На Смоленском молчать не полагается.

В это время гармония запела марш и весь рынок залила буйною тоской.

— Рубль! — сказал, хихикнув, Таракан, чувствуя счастье благодаря сапогам.

— Берите! — крикнул человечишко и нож всунул в голенище новых Таракановых сапог.

И сам не зная как, Таракан выжал из-за пазухи кошелек, крепко зажал меж пальцами левой руки пять червонцев, — примеры всякие бывают на Смоленском рынке! — а правой выдернул желтый рубль.

Таким образом наградили Таракана финкой. Видимо, караулила пекаря беда.

Страшно расстроен был Таракан вследствие покупки ненужной вещи. «Что я, в самом деле, людей, что ли, резать им буду?» Поэтому пришлось Таракану зайти в пивную. Выпив две бутылки пива, Таракан почувствовал, что ножик не так уж не нужен. «Молодецкая вещь — финка», — подумал пекарь и вышел на Новинский бульвар.

До чего здесь было оживленно! Фотограф снимал на фоне экрана, изображающего Кремль над густой и синей Москва-рекой, девуцу с розой в волосах. Стоял человек с трахомой и пел тоскливо и страшно. Китаец вертел погремушкой, и шел народ и назад, и вперед. И тут услышал Таракан необыкновенный голос, всем заявляющий громко и отчетливо:

— У меня денег воз — дядя из Японии привез.

А потом голос так сказал:

— А сам не кручу, не верчу, только денежки плачу.

И действительно, сам он не крутил. Деревянный восьми-

гранный волчок крутил тот, кто ставил. А ставить можно было на любой из восьми номеров. А номер на доске, а доска на обыкновенном ящике, а полукружием вокруг ящика мужчины.

— Игра, — заметил голос, — без обману и шансов. Каждый может выиграть жене на печенку, себе на самогонку. Детишкам на молочишко.

Как родной голос совсем звучал. Как дома. Потная молодая личность в кепке все ставила по три копейки на 8-й номер, а он все не выпадал. А потом, как выпал, — выдал голос кепке пятиалтынный. Кепка потной рукой поставила пяточок и — хлоп — 8! Двадцать пять копеек. Он — гривенник (кепка) — 8! Чудеса — подряд. Полтинник. Голосу хоть бы что, хоть дрогнул — платит и платит. Кепка опять гривенник на 8-й, только он уже не выпал. Нельзя же вечно!

Еще кто-то три копейки поставил на 2-й номер. А на волчке вышло 3.

— Эх, рядом надо было! — сказал кто-то.

— Не угадаешь.

Таракан уже был у самого ящика. Финку переложил из голенища за пазуху к кошельку для верности — все бывало на Новинском бульваре!

Кепка поставила гривенник на 7-й, выпал 7-й. Опять полтинник.

— За гривенник — даю полтинник, а за двугривенный — рубль! — равнодушно всех оповестил голос.

Таракан молодецки усмехнулся, бодрый от пива, и смеху ради поставил на 3-й номер три копейки, но вышел 5-й.

— Чем дальше играешь, тем игра веселей! — голос сказал.

Таракан пяточок мелкой медью поставил на 4-й номер и угадал. Голос выдал Таракану четвертак.

— Ишь ты! — шепнули в полукружии.

Таракан как-то удивился, сконфузился и гривенник бросил на 8-й. Теперь сердце в нем екнуло, пока волчок, качаясь, кривлялся на доске. И упало холодно. Не упал 8-й, а 1-й вместо него. Жаль стало почему-то гривенника. «Эх, не нужно было ставить, забрал бы четвертак и ушел. А тут казнись!»

Через четверть часа полукружие стало плотнее, гуще в

два ряда. И все отшились, до того всех размахом забил Таракан. Теперь Таракан ничего не видел вокруг, только лепешки без глаз вместо лиц. Но лицо голоса видел отлично — на лице, словно постным маслом вымазанном, бритом с прыщом на скуле, были агатовые прехолодные глаза. Спокоен был голос, как лед. А Таракан оплывал. Не узнала бы Таракана родная мать. Постарел, углы губ обвисли, кожа на лице стала серая и нечистая, а водянистые глаза зашли к небу.

Таракан доигрывал пятый, последний червонец. Серый червонец, вылежавшийся за пазухой. Таракан вынул, и владелец ящика его разменял так: рваный рубль, новый рубль, зеленая трешка и тоненькая, как папиросная бумага, выдавшая виды пятерка. Таракан поставил рубль, еще рубль, не взял. «Что ж я по рублю да по рублю?» — вдруг подумал и почувствовал, что падает в бездну. Трешку! И трешка не помогла. Тогда Таракан шлепнул пятерку, и все мимо поплыло по Новинскому бульвару, когда лапа голоса, похожая на воронью, махнула пятерку с доски. Никто не шелохнулся вокруг, весь мир был равнодушен к злостной таракановой судьбе. Владелец же ящика вдруг снял доску, взял ее под одну мышку, а ящик под другую — и в сторону.

— Постой! — хрипло молвил Таракан и придержал голос за рукав. — Погоди-ка!

— Чего годить-то? — ответил голос. — Ставок больше нет. Домой пора.

— Еще сыграю, — чужим голосом заметил Таракан, вынул сапоги и сразу в тумане нашел покупателя.

— Купи сапоги, — сказал он и увидел, что продает сапоги той кепке, что первая начала игру. Кепка презрительно оттопырила губу, и тут поразился Таракан тому, что у кепки было такое же масляное лицо, как и у голоса.

— Сколько? — спросила кепка, постукивая по подошве расщепленным больным ногтем.

— Двадцать! — вымолвил Таракан.

— 12, — нехотя сказала кепка и повернулась уходить.

— Давай, давай! — отчаянно попросил Таракан.

Кепка, свистя через губу, крайне вяло вынула из кармана стального френча червь и два рубля и дала их Таракану. Ящик вернулся на место и легче немного стащил Таракану. Он проиграл по рублю пять раз подряд. На счастливый 3-й номер поставил рубль и получил пять. Тут испуг червем

обвил сердце Таракана. «Когда же я отыграюсь?» — подумал он и поставил пять на 6-й.

— Запарился парень! — далеко заметил кто-то.

Через минуту чисто было перед Тараканом. Ящик уплыл, доска уплыла, и люди разошлись. Бульвар жил, равнодушный к Таракану, китаец стрекотал погремушкой, а вдали переливались свистки — пора рынок кончать.

Воспаленными глазами окинул Таракан бульвар и ныряющей волчьей походкой догнал кепку, уносившую сапоги. Пошел рядом, кепка покосилась и хотела свернуть вон с бульвара.

— Нет, ты так не уходи! — не узнав своего голоса, молвил Таракан. — Как же это так?

— Чего тебе надо? — спросила кепка, и трусливо забежали его глаза.

— Ты какой же червонец мне дал за сапоги? А? Отвечай!

Свет отчаянья вдруг озарил Тараканову голову, и он все понял. На червонце было чернильное пятно, знакомое Таракану. Вчера это пятно на червонце получил Таракан в жалование в пекарне. Он голосу проиграл этот червонец, как же он оказался у этого, кем звалась кепка, и Таракан понял, что она, кепка, заодно с голосом. Значит, червонец голос передал кепке? Не иначе.

— Отойди от меня, пьяница! — сурово сказала кепка.

— Я пьяница? — голос Таракана стал высок и тонок. — Я-то не пьяница. А вы сообщники, злодеи! — выкрикнул Таракан.

Прохожие брызнули в стороны.

— Я тебя не знаю! — неприязненно отозвалась кепка, и Таракан понял, что она ищет лаз в газоне.

Таракан вдруг заплакал навзрыд.

— Погубили меня, — содрогаясь, говорил он, — убили человека. Деньги профсоюзные... Мне их сдавать в кассу. Под суд идти! — Весь мир заволочло слезами, и кепка смягчилась.

— Что ты, голубчик? — задушевно заговорила она. — Я сам, голубчик мой, проигрался. Сам лишился всего. Ты иди, prospись.

— Сапог мне не жалко, — мучаясь выговорил Таракан, — а пятьдесят не мои. Делегат я. Сироту погубили. Жу-

лики! — внезапно тоненько закричал Таракан. Кепка нахмурилась.

— Пошел ты от меня к чертовой матери! — рассердилась она лицом, а глаза по-прежнему бегали. — Я тебя в первый раз в жизни вижу.

— Верни этого с ящиком! — не помня себя, бормотал Таракан, наступая на кепку. — Подай мне его сейчас! А то я вас власти отдам! Куда же это милиция смотрит? — в ужасе спросил Таракан у любопытной старушечьей мордочки в платке.

Наложила на себя мордочка крестное знамение и мгновенно провалилась в газон. Мальчишки засвистели кругом, как соловьи.

— А ты дай ему, дай, что долго разговаривать! — посоветовал чей-то гнилой голос.

Кепкины глаза теперь ходуном ходили, вертелись, как мыши.

— Отцепись от меня, падаль! — сквозь зубы просвистела кепочка. — Никакого я ящика не видел.

— Врешь! Мошенник! Я вас насквозь вижу! — рыдающим голосом воскликнул Таракан. — Мои сапоги за мой же червонец купил!

— Что на них, свои клейма, что ли? — спросила кепочка и косо подалась в сторону. — Я их купил совсем у другого человека, высокого роста, с бельмом, а ты маленький — Т-таракан! Обознался, гражданин! — сладко заметила кепочка, улыбаясь любопытным зрителям одними постными щеками. — А теперь мне голову морочит. Ну, отойди, зараза! — вдруг фыркнула она кошачьим голосом и, как кошка, пошла — легко, легко. Клеш замотался над тупоносыми башмаками.

— Говорю, лучше остановись! — глухо бубнил Таракан, цепляясь за рукав. — Предаю тебя ответственности! Люди добрые...

— Эх, надоел! — сверкнув глазами, крикнула кепочка и сухим локтем ударила Таракана в грудь.

Воздуху Таракану не хватило. «Погибаю я, делегат злощастный, — подумал он. — Уходит... злодей...»

— Ты остановишься? — белыми губами прошептал Таракан и поймал кошачий зрачок отчаянным своим глазом. В зрачке у кепки была уверенность, решимость, не боялась

кепка коричневого малого Таракана. Вот сейчас вертушка-турникет, и улизнет кепочка с Новинского!

— Стой, стой, разбойник! — сипел Таракан, закручивая двумя пальцами левой руки скользкий рукав. Кепка молча летела к турникету. — Милиция-то где же? — задыхаясь шепнул Таракан.

Таракан увидел мир в красном освещении. Таракан вынул финку и в неизбышной злобе легко ударил ею кепку в левый бок. Сапоги выпали из кепкиных рук на газон. Кепка завернулась на бок, и Таракан увидел ее лицо. На нем теперь не было и признаков масла, оно мгновенно высохло, похорошело, и мышинные глазки превратились в огромные черные сливы. Пена клоком вылезла изо рта. Кепка, хрипнув, возвела руки к небу и качнулась на Таракана.

— Ты драться?.. — спросил Таракан, отлично видя, что кепка драться не может, что не до драки кепке, не до сапог, ни до чего! — Драться?.. Ограбил и драться? — Таракан наотмашь кольнул кепку в горло, и пузыри выскочили розового цвета на бледных губах. Экстаз и упоение заволокли Таракана. Он полоснул кепку по лицу, и еще раз, когда кепка падала на траву, чиркнул по животу. Кепка легла в зеленую Новинскую траву и заляпала ее пятнами крови. «Финка — знаменитая... вроде как у курицы, кровь человечья», — подумал Таракан.

Бульвар завизжал, заревел, и тысячные, как показалось, толпы запрыгали, заухали вокруг Таракана.

«Погиб я, делегат жалкий, — помыслил Таракан, — черная моя судьба. Кто ж это мне, дьявол, ножик продал, и зачем?»

Он швырнул финку в траву, прислушался, как кепка, вся в пузырях и крови, давится и умирает. Таракану стало жалко кепку и почему-то того жулика с ящиком... «Понятное дело... он на хлеб себе зарабатывает... Правда, жулик... но ведь каждый крутится, как волчок...»

— Не бейте меня, граждане, — тихо попросил пропащий Таракан, боли от удара не почувствовал, а только догадавшись по затемненному свету, что ударили по лицу, — не бейте, товарищи! Делегат я месткома пекарни № 13... Ох, не бейте. Профсоюзные деньги проиграл, жизнь загубил свою. Не бейте, а вяжите! — молвил Таракан, руками закрывая голову.

Над головой Таракана пронзительно, как волчки, сверлили свистки.

«Ишь, сколько милиции... Чрезвычайно много набежало, — думал Таракан, отдаваясь на волю чужим рукам, — раньше б ей надо было быть. А теперь все равно...»

— Пускай бьют, товарищ милицейский, — глотая кровь из раздавленного носа, равнодушно сказал Таракан, понимая только одно, что его влекут сквозь животы, что ноги его топчут, но уже по голове не бьют. — Мне это все равно. Я неожиданно человека зарезал вследствие покупки финского ножа.

«Как в аду, суматоха, — подумал Таракан, — а голос распорядительный...»

Голос распорядительный, грозный и слышный до Кудринских, ревел:

— Извозчик, я тебе покажу — отъезжать! Мерзавец... В отделение!!!

Середина 1920-х гг.

«Заря Востока», 23 августа 1925 г.



ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Дневничок больного

У нас больного Т. дорздрав по ошибке заслал в Аксаковский санаторий. А там ему, больному, говорят: «Вы ошибочно сюда посланы». И он обратно поехал. Так и на луну могут послать!

Рабкор 1043.

5-го июля. Кашлять я начал. Кашляю и кашляю. Всю ночь напролет. Мне бы спать надо, а я кашляю.

7-го июля. Записался на прием.

10-го июля. Стукал молоточком и сказал. «Гм!» Что это значит — это «гм»?

11-го июля. Сделали рентгеновский снимок с меня. Очень красиво. Весь темный, а ребра белые.

20-го июля. Поздравляю вас, дорогие товарищи, у меня туберкулез. Прощай, белый свет!

30-го июля. Послали меня в санаторий «Здоровый дух» на курорт. Получил на 2000 верст подъемные и бесплатный билет жесткого класса с тюфяком.

1-го августа... и с клопами. Еду, очень красивые виды. Клопы величиной с тараканов.

3-го августа. Приехал в Сибирь. Очень красивая. На лошадах ехал в сторону немного — 293 версты. Кумыс.

6-го августа. Вот тебе и кумыс! Они говорят, что это ошибка. Никакого туберкулеза у вас нет. Опять снимок делали. Видел свою почку. Страшно противная.

8-го августа. И потому я сейчас записываю в Ростове-на-Дону. Очень красивый город. Еду в здравницу «Солнечный дар» в Кисловодск.

12-го августа. Кисловодск. И ничего подобного. Почка тут ни при чем. Говорят: какой черт вас заслал сюда?

15-го августа. Я пишу на пароходе, якобы с наследственным сифилисом, и еду в Крым (в скрытой форме). Меня рвет, вследствие качки. Будь оно проклято, такое лечение!

22-го августа. Ялта, превосходный город, если б только не медицина! Загадочная наука. Здесь у меня глисты нашли и аппендицит в скрытой форме. Я еду в Липецк Тамбовской губернии. Прощай, водная стихия Черного моря!

25-го августа. В Липецке все удивляютя. Доктор очень симпатичный. Насчет глистов сказал так:

— Сами они глисты!

Подвел меня к окошку, посмотрел в глаза и заявил:

— У вас порок сердца.

Я уж так привык, что я весь гнилой, что даже и не испугался. Прямо спрашиваю: куда ехать?

Оказывается, в Боржом.

Здравствуй, Кавказ!

1-го сентября. В Боржоме даже не позволили вещи распаковать. Мы, говорят, ревматиков не принимаем.

Вот я уж и ревматиком стал! Недолго, недолго мне жить на белом свете! Уезжаю опять в Сибирь на...

10-го сентября. ...Славное море, священный Байкал! Виды тут прелестные, только уж холод собачий. И сибирский доктор сказал, что это глупо разъезжать по курортам, когда скоро снег пойдет. Вам, говорит, надо сейчас ехать погреться. Я, говорит, вас в Крым махану... Говорю, что я уже был. Мерси. А он говорит, где вы были? Я говорю: в Ялте. А он говорит: я, говорит, вас пошлю в Алупку. Ладно, в Алупку — так в Алупку. Мне все равно, хоть к черту на рога. Купил шубу и поехал.

25-го сентября. В Алупке все заперто. Говорят, поезжайте вы домой, а то, говорят, мечетесь вы по всей Республике, как беспризорный. Плюнул на все и поехал к себе домой.

1-го октября. И вот я дома. Пока я ездил, жена мне изменила. Пошел я к доктору. А он говорит: вы, говорит, человек совсем здоровый, как стеклышко. А как же так, спрашиваю, меня гоняли? А он отвечает: про-то ошибка! Ну, ошибка и ошибка. Завтра иду на службу.

Больной № 555
МИХАИЛ

«Гудок», 2 сентября 1925 г.



БЛАГИМ МАТОМ

В трудовом литерном поезде участка Р... Ряз.-Ур. рабочие каждый день играют в карты — в козла. Эта игра стала занятием рабочих, в процессе которой идет ругань матершинная, невозможно какая. Безобразия!

Рабкор № 3009

Вагон.

Махорка.

— А я дамой!

— А мы твою даму по (одно непечатное слово)! Хлоп!

— Ах ты, трах-тара-там... (три непечатных слова).

— Иван Миколаич, ходи под него королем!

— Ходи ты своим королем в... (одно непечатное слово)!

У нас на твоего короля, бум-тара-трах (три непечатных слова), туз имеется!

— А мы его двойкой козырной, старого... (одно непечатное слово)... по ... (одно непечатное слово). Бац-тара-бум! (три).

Дзинь!

— Братцы, что это?

— Фонарь, буц-там-тарарах (три) лопнул! Не выдержал!

— Рази иван миколаичевский разговор выдержишь? Он как скажет, будто из пушки выстрелит.

— Потеха! Тут, братцы, позавчера приходила жена железнодорожного мастера, а Васька как раз хлопнул Иван Миколаевича валета дамой, тот и начал. Я тебе, говорит!.. Я б его, говорит... Трах-тара, мать твою, говорит, я ее бы, твою даму, говорит, семь раз, говорит, трах-тарарах, говорит. Что б ее, говорит! Я ее, говорит!! Чисто град по станции пошел! Та, бедняжка, как облокотилась на вагон, стоит и двинуться не может, руки-ноги трясутся, сама бледная. Корзину уронила. А Иван Миколаич трехдоймовым беглым кроет. Минут восемь работал. Родителей этой дамы отделил, принял за валетову тетку, я б, говорит, эту тетку, да я бы ее!! После тетки прошел боковую линию — своячениц, сноху и шурина изнасиловал. Потом поднялся до предков, Прабабушку чью-то обесчестил, потом по внукам начал

чесать. Наконец на восьмой минуте хлопнул двоюродного племянника пиковой десяткой и закрыл клапан.

Та пот утерла, корзину подняла, идет и плачет.

— Бабам нашей игры не выдержать!

— Что бабам! Тут вчера на лошадке приехал один крестьянин. Привязал ее у шлагбаума, а Петя в это время роббер доигрывал и начал выражаться. Дык лошадка постояла, постояла, как плюнет! Потом отвязалась и говорит:

— Пойду, говорит, куда глаза глядят. Потому что такого сраму в жизнь свою лошадиную не слыхала.

Ловили ее Потом два часа в поле.

— Лошадка-то женского пола была? (три непечатных слова).

— Кобылка, понятное дело.

МИХАИЛ

«Гудок» 10 сентября 1925 г.



НЕ ТЕ БРЮКИ

Поспешность потребна только блох
ловить.

Изречение

Председатель тягового месткома объявил заседание открытым в 6 часов и 3 минуты.

После этого он объявил повестку дня, или, вернее, вечера.

Меню оказалось состоящим из одного блюда: «Разбор существующего колдоговора и заключение нового».

— По-американски, товарищи, лишних слов не будем терять, — заявил председатель. — Начало читать не будем, там важного ничего нет. На первой странице все отпадает, стало быть, а прямо приступаем к параграфам. Итак, глава первая, параграф первый, пункт ле, примечание бе: «Необходимо усиленное втягивание отдельных активных работников производства, давая им конкретные поручения...» Вот, стало быть, какой параграф. Кто за втягивание?

— Я — за!

— Прошу поднять руки.

— И я за!

— Большинство!

И заседательная машинка закрутилась. За параграфом ле разобрали еще параграф пе. За пе — фе, за фе — же, и времечко прошло незаметно.

На четвертом часу заседания встал оратор и один час пятнадцать минут говорил о переводе сдельных условий на рублевые расценки до тех пор, пока все единогласно не взвыли и не попросили его перестать!

После этого разобрали еще двести девять параграфов и внесли двести девять поправок.

Шел шестой час заседания. На задней лавке двое расстелили одеяло и приказали разбудить себя в восемь с половиной, прямо к чаю.

Через полчаса один из них проснулся и хрипло рявкнул:
— Аксинья, квасу! Убью на месте!

Ему объяснили, что он на заседании, а не дома, после чего он опять заснул.

На седьмом часу заседания один из ораторов очнулся и сказал, зевая:

— Не пойму я чтой-то. В пункте 1005 написано, что получают до 50%, но не выше 40 миллионов. Как это так — миллионов?

— Это опечатка, — сказал американский председатель, синий от усталости, и мутно поглядел в пункт 1005-й. — Читай: рублей.

Наступил рассвет. На рассвете вдруг чей-то бас потребовал у председателя:

— Дай-ка, милый человек, мне на минутку колдоговор, что-то я ничего там не понимаю.

Повертел его в руках, залез на первую страницу и воскликнул:

— Ах ты, черт тебя возьми, — потом добавил, обращаясь к председателю: — Ты, голова с ухом!

— Это вы мне? — удивился председатель.

— Тебе, — ответил бас. — Ты что читаешь?

— Колдоговор.

— Какого года?

Председатель побагровел, прочитал первую страницу и сказал:

— Вот так клюква! Простите, православные, это я 1922 года договор вам запузыривал.

Тут все проснулись.

— Ошибся я, дорогие братья, — умильно сказал председатель, — простите, милые товарищи, не бейте меня. В комнате темно. Я, стало быть, не в те брюки руку сунул, у меня 1925 год в полосатых брюках.

МИХАИЛ

«Гудок», 16 сентября 1925 г.



СТРАДАЛЕЦ-ПАПАША

1

После того, как пошабашили, Василий стоял и говорил со слезами в голосе:

— У меня радостное событие, друзья. Супруга моя разрешилась от бремени младенцем мужского пола, на какового младенца страхкасса выдает мне 18 рублей серебром. На приданое, значит. Мальцу пелешки купить, распашонки, одеяльце, чтоб он ночью не орал от холоду, сукин кот. А что останется, пойдет моей супруге на улучшение приварка. Пусть кушает, страдалица-мать. Вы думаете, легко рожать, дорогие друзья?

— Не пробовали, — ответили друзья.

— А вы попробуйте, — ответил Василий и удалился в страхкассу, заливаясь счастливыми слезами.

2

— У меня радостное событие. Разрешилась страдалица-мамаша от бремени, — говорил Василий, засунув голову в кассу.

— Распишитесь, — ответил ему кассир Ваня Нелюдим.

Одновременно с Василием получил за инфлуенцию симпатичный парень Аксиньич 7 р. 21 к.

3

— Радостное событие у меня, — говорил Василий, — страдалица моя разрешилась младенцем...

— Идем в кооператив, — ответил Аксиньич, — надо твоего младенца вспрыснуть.

— Две бутылки русской горькой, — говорил Аксиньич в кооперативе, — и что бы еще такое взять, полегче?

— Коньяку возьмите, — посоветовал приказчик.

— Ну, давай нам коньяку две бутылочки. Что бы еще это такое, освежающее?..

— Полынная хорошая есть, — посоветовал приказчик.

— Ну, дай еще две бутылки полынной.

— Что кроме? — спросил приказчик.

— Ну, дай нам, стало быть, колбасы полтора фунта, селедки.

Ночью тихо горела лампочка. Страдалица-мать лежала в постели и говорила сама себе:

— Желала бы я знать, где этот папаша.

На рассвете появился Василий.

— И за Сеню я, за кирпичики полюбила кирпичный завод... — вел нежным голосом Василий, стоя в комнате. Шапку он держал в руках, и весь пиджак его почему-то был усеян пухом.

Увидав семейную картину, Василий залился слезами.

— Мамаша, жена моя законная, — говорил Василий, плача от умиления, — ведь подумать только, чего ты натерпелась, моя прекрасная половина жизни, ведь легкое ли дело рожать, а? Ведь это ужас, можно сказать! — Василий швырнул шапку на пол.

— Где приданные деньги младенчиковы? — ледяным голосом спросила страдалица-супруга.

Вместо ответа Василий горько зарыдал и выложил перед страдалицей кошелек.

В означенном кошельке заключались: 85 копеек серебром и 9 медью.

Страдалица еще что-то сказала, но что — нам неизвестно.

Через некоторое время делегатка женотдела в мастерской приняла заявление, подписанное многими женами, в каковом заявлении писано было следующее:

«...чтобы страхкасса выдавала пособия на роды и на кормление детей наших натурой из кооператива и не мужьям нашим, а нам, ихним женам.

Так спокойнее будет и вернее, об чем и ходатайствуем».

Подпись: «Ихние жены».

К подписям ихних жен свою подпись просит присоединить

ЭМ.

«Гудок», 22 сентября 1925 г.



МЕРТВЫЕ ХОДЯТ

У котельщика 2 уч. сл. тяги Северных умер младенец. Фельдшер потребовал принести ребенка к себе, чтобы констатировать смерть.

Рабкор № 2121

1

Приемный покой. Клиентов принимает фельдшер.

Входит котельщик 2-го участка службы тяги. Печален.

— Драсте, Федор Наумович, — говорит котельщик траурным голосом.

— А, драсте. Скидайте тужурку.

— Слушаю, — отвечает котельщик изумленно и начинает расстегивать пуговицы, — у меня видите ли...

— После поговорите. Рубашку скидайте.

— Брюки снимать, Федор Наумович?

— Брюки не надо. На что жалуетесь?

— Дочка у меня померла.

— Гм. Надевайте тужурку. Чем же я могу быть полезен? Царство ей небесное. Воскресить я ее не в состоянии. Медицина еще не дошла.

— Удостоверение требуется. Хоронить надо.

— А... констатировать, стало быть... Что ж, давай ее сюда.

— Помилуйте, Федор Наумович. Мертвенькая. Лежит. А вы живой.

— Я живой, да один. А вас, мертвых, — бугры. Ежели я за каждым буду бегать, сам ноги протяну. А у меня дело — видишь, порошки кручу. Адье.

— Слушаюсь.

2

Котельщик нес гробик с девочкой. За котельщиком шли две голосащие бабы.

— К попу, милые, несете?

— К фельдшеру, товарищи. Пропустите!

У ворот приемного покоя стоял катафалк с гробом. Возле него личность в белом цилиндре и с сизым носом, и с фонарем в руках.

— Чтой-то товарищи? Аль фельдшер помер?

— Зачем фельдшер? Весовщикова мамаша Богу душу отдала.

— Так чего ж ее сюда привезли?

— Констатировать будет.

— А-а... Ишь ты.

— Тебе что?

— Я, изволите ли видеть, Федор Наумович, помер.

— Когда?

— Завтра к обеду.

— Чудак! Чего ж ты заранее притащился? Завтра б после обеда и привезли тебя.

— Я, видите ли, Федор Наумович, одинокий. Привозить-то меня некому. Соседи говорят, сходи заранее, Пафнутьич, к Федору Наумовичу, запишись, а то завтра возиться с тобой некогда. А больше дня ты все равно не протянешь.

— Гм. Ну ладно. Я тебя завтрашним числом запишу.

— Каким хотите, вам виднее. Лишь бы в страхкассе выдали. Делов-то еще много. К попу надо завернуть, брюки опять же я хочу себе купить, а то в этих брюках помирать неприлично.

— Ну, дуй, дуй! Расторопный ты старичок.

— Холостой я, главная причина. Обдумать-то меня некому.

— Ну, валяй, валяй. Кланяйся там, на том свете.

— Передам-с.

ЭММА Б.

«Гудок», 25 сентября 1925 г.



ДИНАМИТ!!!

Прислали нам весной динамит для взрыва ледяных заторов. Осталось его 18 фунтов, и теперь наш участок прямо не знает, что с ним делать. Взрыва бонмоя и отослать его не к кому. Наказание с этим динамитом!

Рабкор

На всех видных местах в управлении службы пути висели официальные надписи:

«Курить строжайше воспрещается».

«Громко не разговаривать».

«Сапогами не стучать».

Кроме того, на входных дверях железнодорожного общежития висела записка менее официального характера:

«Ежели ваши ребятишки не перестанут скакать, я им уши повырываю с корнем. Иванов седьмой».

На путях за семафором висели красные сигналы и надписи:

«Не свистеть».

«Скорость шесть верст в час»

Поезда входили на станцию крадучись, с тихим шипением тормозов, и в кухнях вагонов-ресторанов заливали огонь. Охрана шла по поезду и предупреждала:

— Граждане, затушите папироски. Тут у них динамит на станции.

*

— Я тебе кашляну (шепот), — я тебе кашляну.

— Простудился я сильно, Сидор Иванович.

— Я тебе простужусь. Бухает, как в бочку! Ты мне тут на-кашляешь, что у меня взлетит вся станция на воздух.

— Наказание с этим динамитом, Сидор Иванович.

— А ты сапогами не хлопай, вот и не будет наказание.

— Где вы его держите, Сидор Иванович? — спрашивал приезжий.

— В гостиной, на квартире. В мокрую тряпку его завернули и под диван.

— Как табак, стало быть?

— Хорошенький табак. Это собачья каторга, а не жизнь. Детишек пришлось к тетке отправить. Они обрадовались, ангелочки, начали прыгать! «Папа динамит привез, папа динамит привез!!» Выдрал их, чертей полосатых, и отправил гостить.

— Долго ль до греха!

— Вот то-то. Дежурство пришлось устроить. Днем жена с винтовкой стоит, вечером — кухарка, по ночам — я.

— Да вы б его отправили.

— Пробовал-с. Сам завернул. Запечатал. Приношу на станцию в багажное отделение. А весовщик и спрашивает: «Что это у вас, Сидор Иванович, в посылке?»

Я ему отвечаю: «Да пустяки, — говорю, — не обращайтесь внимания, тут динамита 18 фунтов. В Омск посылаю».

Так он, представьте, бросил багажное отделение, вылез в окно и убежал. Только я его и видел.

— Вот оказия!

— Мученье. Пробовал его другой дороге подарить. Написал им бумажку. Так, мол, и так: «Посылаю вам, дорогая соседка, Самаро-Златоустовская дорога, в подарок 18 фунтов динамита. Пользуйтесь им на здоровье, как желаете. Любящий тебя участок Омской дороги».

— Ну и что ж она?

Сидор Иванович порылся в кармане и вытащил телеграмму:

«В адрес 105. Подите к чертям. Точка».

Сидор Иванович уныло повесил голову и вздохнул.

— А вы знаете что, Сидор Иванович, — посоветовал ему приезжий, — вы бы его попробовали Красной Армии подарить.

Сидор Иванович ожил:

— А ведь это идея! Как же это нам в голову не пришло?

Вечером в службе пути сочинили бумажку такого содержания:

«Глубокоуважаемый тов. Фрунзе, в знак любви к Красной Армии посылаем 18 фунтов динамита. С почтением, участок Омской дороги».

При этом была приписка: «Только пришлите своего человека за ним, опытного и военного, а то у нас никто не соглашается его везти».

Ответа от тов. Фрунзе еще нет.

ЭММА Б.

«Гудок», 30 сентября 1925 г.



ГОРЕМЬКА-ВСЕВОЛОД

История одного безобразия

1. БИОГРАФИЯ ВСЕВОЛОДА

Отчим Всеволода — красноармеец командного состава. Поэтому ездил пять с половиной лет Всеволод из одного города Союза в другой вслед за отчимом, в зависимости от того, куда отчима посылали.

Однако Всеволод был хитрый, как муха, и во время путешествий цеплялся то за одно, то за другое учебное заведение.

Таким образом, сумел Всеволод выучиться в Одесской школе судовых машинистов, затем в школе морского транспорта в г. Баку и даже в образцовой профтехнической школе в г. Киеве.

Помимо этого, не последний человек был Всеволод и в слесарно-механическом ремесле (следствие трехлетнего стажа в школьных мастерских).

Всеволод был любознателен, как Ломоносов, и смел, как Колумб. Поэтому Всеволод явился к отчиму и заявил:

— Дорогой отчим командного состава, я поступаю в политехникум путей сообщения в городе Ростове-на-Дону.

— Шпарь! — ответил отчим.

2. ЧТО ПРОИЗОШЛО

Местком отчима написал учку про Всеволода:

«Так и так. Всеволод учиться желает».

Учк написал дорпрофсожу:

«Желаем, чтобы Всеволод учился».

Дорпрофсож написал политехникуму:

«Будьте любезны Всеволода принять».

Политехникум принял документы Всеволода и все их потерял.

Всеволод в этот год в политехникум не попал.

3. НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Умудренный опытом Всеволод заранее послал все документы в копиях в учк. В этих копиях между прочим находилась рекомендация Всеволода:

«Всеволод хороший парень, а отчим его ведет полезную работу».

Все это под расписку было сдано ответственному работнику учка. И ответственный работник все документы Всеволода потерял.

4. ВСЕВОЛОД УПОРСТВУЕТ

Всеволод стал избегать ответственных работников учков и прятался от них в подворотни. Ответственный поехал в отпуск, и Всеволод нырнул к его заместителю, но и заместитель уехал в отпуск, а у заместителя был помощник, коему Всеволод вновь вручил свои документы. Помощник посмотрел документы Всеволода и по неизвестной причине вернул их через местком Всеволоду.

Так что по неизвестной причине кандидатура Всеволода рухнула.

5. ШИШ

Всеволод получил из учка обратно документы, а вместе с ними и шиш с маслом.

6. УЧК СОЧУВСТВУЕТ

Всеволод кинулся в учк с воем.

— Бедный Всеволод, — говорили учкисты, рыдая Всеволоду в жилет. — Мы тебя понимаем и тебе сочувствуем, юный красавец.

И в знак сочувствия написали Всеволоду записку в политехникум:

«Так и так, примите Всеволода».

7. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА

Всеволод бросился в политехникум с запиской.

— Арифметику проходили, молодой человек? — спросили Всеволода в политехникуме.

— Проходил, — ответил почтительно Всеволод.

— Так вот, решите задачку: в политехникуме свободных мест X . А записок на эти свободные места написано $X \times 3$, плюс еще одна записка, ваша. Спрашивается, попадете ли вы в политехникум?

— Нет, не попаду, — сказал Всеволод, который был очень способен к математике.

— Удалитесь, молодой человек, — сказали ему в политехникуме.

И Всеволод удалился.

8. ВЫВОД

Безобразия творятся у нас на белом свете.

ЭММА Б.

«Гудок», 1 октября 1925 г.



ЛИКУЮЩИЙ ВОКЗАЛ

1. ОБЪЯВЛЕНИЕ

В одной московской газете появилось дословно следующее объявление:

«Новость» (с левого боку). Новость! (с левого боку). Новость! (с правого). Новость! (тоже с правого).

— Четыре сбоку.

— Какая такая новость? — заинтересовался гражданин.

Новость оказалась следующего сорта:

Все в буфет Александровского вокзала!

Дешево и хорошо.

Обеды, порционные блюда и дежурные.

Вина, водки 40 градусов. Коньяки 60 градусов.

Ликеры 60 градусов.

Наливки разные рюмками и в графинах.

Тверская застава.

— Однако! — воскликнул гражданин, — хоть бы во сне увидеть, что теперь творится на вокзале после такого объявления.

2. СОН

Вокзал грохотал, как фабрика. У подъездов стояли прокатные автомобили, лихачи с ватными задками, таксомоторы и извозчики.

Места в буфете не хватало. Поэтому столики расставили в багажном отделении, на телеграфе и в кабинете помощника начальника станции. В воздухе стоял туман от паровой севрюжки.

Двести лакеев порхали, взмахивая салфетками, а из телеграфа доносился вой скрипок. Там 15 пар танцевали фокстрот.

Поперек окошка в кассу висела надпись:

«Поезд на Смоленск не пойдет, но зато есть свежие раки».

И был нарисован красный рак в фуражке начальника станции с позументом.

На почте красовался плакат:

«К дьяволу с письмами, сегодня блины»

Начальник станции в белом колпаке и в фартуке сидел в своем бывшем кабинете и говорил по телефону.

— Восемь раз стерлядка кольчиком. Салат Оливье шесть раз!

Дверь поминутно хлопала, влетали лакеи, бросали начальнику медные марки, вскрикивали:

— Осетрина Американ! 5 раз! 8 бутылок очищенной, 7 единиц рябиновки!

Из дамской уборной доносились вопли. Там кого-то били бутылкой «Напареули» и чей-то голос взвизгивал:

— Я покажу тебе, как к чужим дамам приставать! Это тебе не кабак, а Большая Александровская Стрельна!

— Пст!.. человек! Пять рюмок полынной!

— Счас подаю. Сей минут!

Гражданин с чемоданом ввалился на вокзал и ошалел.

— Что ж это у вас делается такое? — робко спросил он у помощника начальника, который во фраке метрдоителя возвышался посредине зала.

— Пропадаем, гражданин! — ответил ему метрдоитель. — После этого проклятого объявления вся Москва к нам хлынула. Все бросить пришлось. Сами видите, у нас теперь как в бывшем «Яре» на бывшей масленице.

— А мне в Витебск надо!

— Какой тут Витебск! У нас на витебских путях пиво лежит. Все завалили. Поезжайте, гражданин, домой. Может, с какого другого вокзала уедете, где сухо...

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это, конечно, сон, но все-таки.

Александровский вокзал, уйми своего 60-градусного буфетчика!

ЭММА Б.

«Гудок», 14 октября 1925 г.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ВОДОЛЕЙ

В основе фельетона действительная бумага, сочиненная на ст. Воронж-товарная, Юго-Вост. и сообщенная нам рабком 1011

Иван Иванович, Деес товарной станции, вошел в свой кабинет, аккуратно снял калошки, поставил в уголок и уселся за свой стол.

Тут его глаз заметил на столе служебную бумагу. Деес развернул ее, прочитал и немедленно начал рыдать от радости.

— Оценили Дееса... Вспомнили... — бормотал он.

Он позвонил.

— Позвать моего помощника, Сидор Сидорыча, — заявил он курьеру.

— Идите, Сидор Сидорович, к Ивану Ивановичу, — сказал курьер помощнику.

— А что? — спросил помощник.

— Рыдают они, — пояснил курьер.

— Какого лешего рыдает?

— Не могу знать.

— Вот черт его возьми, — гудел помощник, направляясь в кабинет по коридору, — минутки покою с ним нету. То он смеется, то рыдает, то бумаги пишет. Замучил бумагами, окаянный.

— Что прикажете, Иван Иванович? — сладко спросил он, входя в кабинет.

— Голубчик, — сквозь пелену дождя сказал Деес, — радость у меня нежданная, негаданная, — при этом вода из Дееса хлынула в три ручья, — получаю я назначение новое. Недаром, значит, послужил я социалистическому отечеству на пользу... Церкви и отечеству на утешу... Тьфу, что я говорю! Одним словом, назначают меня. Ухожу я от вас...

«Слава тебе Господи, царица небесная, угодники святители, услышали вы молитвы мои, — думал помощник, —

послал мне Господь за мое долготерпение, кончилась каторга моя сибирская», — а вслух заметил:

— Да что вы говорите! Ах, горе-то какое! Как же мы без вас-то будем? Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах! — «Зарыдать надо, шут меня возьми, а я не умею. С четырнадцати лет не рыдал, ах, чтоб тебе». — Он вытащил платок, закрыл сухие глаза, и, наконец, ему удалось взрыдать несколько ненатуральным голосом, напоминающим волчий лай.

— Кульеров зовите прощаться, — заметил совершенно промокший именинник.

— Вот уходит от нас Иван Иванович, — искусственно дрожащим голосом заявил помощник и пырнул курьера пальцем в бок, добавил тихо: «Рыдай!»

И курьер из вежливости зарыдал.

Из той же вежливости зарыдала через пять минут вся контора Дееса.

Отрыдав сколько положено, она успокоилась и приступила к своим занятиям. Но дело этим не кончилось.

— А знаете что, Сидор Сидорыч, — сказал несколько просохший Деес, — ведь я со всеми не могу попрощаться, ведь мне сегодня ехать надо. Как же я расстанусь с дорогими моими сослуживчиками: конторщиками, телеграфистиками, машинисточками, бухгалтерчиками.

«Ой, опять взвоят, это же наказание», — подумал помощник. Но Деес не взвыл, а придумал великолепнейший план:

— Я с ними в письменной форме прощаюсь. Будут они помнить меня, дорогие мои товарищи по тяжелой нашей работе на устройство нашей дорогой республики...

И тут он сел за стол и сочинил нижеследующее произведение искусства:

«Товарищи!

Получив назначение и не имея возможности лично распрощаться со всеми вами, прибегаю к письменному прощальному слову.

Товарищи рабочие и служащие, проработав вместе с вами более года в непосредственной, низовой, практической, кропотливой, мелкой, но трудной станционной работе, должен отметить то, что отмечалось и до меня в нашей со-

ветской печати, а именно: лишь только при совместной дружной работе с широкими рабочими массами каждый руководитель может улучшить свое хозяйство, это — в частности, а в общем рабочий класс обязан все советское хозяйство перестроить на новых, наших, пролетарских началах, т. е. чем скорее восстановит он свое хозяйство, тем скорее улучшит свое личное благополучие и через посредство этого героического неослабленного трудолюбия трудящихся...» и т. д., и т. д.

Прошел час, а Деес все еще писал.

«...Уезжая от вас (здесь бумага закапана слезами), разрешите, товарищи, надеяться мне, что и в дальнейшем вы, рабочие и служащие, как один, будете всемерно поддерживать свой авторитет перед администрацией управления, и не только свой, но также администрации станции через посредство честного отношения к своим порученным обязанностям, ко мне, что к отысканию единого правильного пути в работе станции с целью достижения еще большего улучшения в рабочем аппарате и удешевления себестоимости нашей добываемой продукции, т. е. перевозки пассажира — версты и пудо-грузо-версты, мы должны быть все вместе, как один, и тем самым добиться устранения препятствий в правильном обслуживании широких трудящихся масс, а в том числе, следовательно, и самих себя в отдельности, а также доказать свою незыблемую преданность интересам рабочего класса СССР...»

Написав весь пудо-груз этой ерунды, Деес, чувствуя, что у него в голове у самого туман, добавил вслух:

— Кажется, здорово завинчено.

«Что б такое еще им написать, канальчикам, чтоб они меня помнили? Впрочем, и так хорошо будет».

«...Пожелаю вам, товарищи, всего хорошего. До свидания. С товарищеским приветом. Иван Иванович», — приписал Деес, вместо печати накапал слезами и добавил в верху бумаги:

«Прошу каждого из адресатов по своим конторам объявить сотрудникам».

После этого он надел калоши, шапку, шарф, взял чемодан и уехал на новое место службы.

А по всем конторам три дня после этого стоял вой и скрежет зубовой, но уже не поддельный, а настоящий. Началь-

ники контор сгоняли сотрудников и читали им вслух сочинение Дееса.

— Чтоб его разорвало, — говорили сотрудники неподдельными голосами, но шепотом. Ни одного слова нельзя понять, и какого он черта это писал, никому не известно. Ну, слава тебе Господи, что он уехал, авось, не вернется.

ЭММА Б.

«Гудок», 16 октября 1925 г.



НА ЧЕМ СИДЯТ ЛЮДИ

(По материалам рабкора №2161)

(Подлинное письмо)

Бывают люди серьезные, а бывают такие, которые, что ни сделают, выходит ерунда.

Например, который страхкассу при станции Рязань Казанской поместил зачем-то наверху, во втором этаже.

Туда инвалиды ходят гражданских фронтов и лезут наверх, при этом, конечно, ругаются словами неприличными.

А обратно гораздо интереснее. Я как-то вхожу и слышу грохот и вижу... бежит сверху костыль с ручкой, обернутый тряпкой. Прыгнул влево, потом вправо и при этом стукнул в зубы какого-то профработника так, что тот залился слезами, как дитя, и, наконец, выбежал на парадный вход прямо к извозчику.

Как якобы живой костыль.

Я кричу:

— Какой дьявол швыряется костылями?

И слышу голос с неба:

— Я тебе не дьявол...

И вижу — несется со страшной скоростью инвалид, проливавший кровь, несется, на чем люди сидят, по перилам и на каждом повороте кричит, чтобы кого-нибудь не раздать. Потом съехал очень ловко и сел у парадного хода со словами:

— б.

Спрашиваю:

— Почему ты едешь, а не ходишь?

— А ты что, слепой? (это он говорит). Ты видишь, у меня ноги нет? Я могу ходить только по ровному месту, а тут какая-то бесхвостая собака кассу загнала на второй этаж!

В это время сверху летит второй работник ответственного вида, спасаясь от костыля. За ним вприпрыжку костыль,

за костылем шапка, за шапкой — краюха хлеба, каковая вскочила в подвал, в заключение, как вихрь, съехал инвалид. Но он не так, как первый, удачно, а с криком: «Не угадал, братцы!» — проскочил в окно, не оставив ни одного стекла, и прямо на улицу.

Вследствие чего кассу нужно перевести на первый этаж.

Письмо списал ЭМ. БЕ.

«Гудок», 21 октября 1925 г.



«ВОДА ЖИЗНИ»

Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.

Все, что здесь доступно оку (как говорится),
Спит, покой цсняя...

В это-то время к железнодорожной лавке и подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:

— Ванька, не будь сволочью, дай рупь шестьдесят две!..

— Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.

Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:

— Соскучились, ребятишки?

Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:

— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?

— Агородами... Там сугробы, — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.

С победоносным криком: «Номер первый — ура!!!», — он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:

— Что б ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей — первый, он дежурил два дня.

Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:

— Братцы, очищенное привезли!..

Калитки захлопали.

Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на пол корпуса местного дьякона (шестой номер). Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова, восьмым — сам Сидоров, девятым, Пелагеин племянник, бросивший на пять саженей десятого — помощника начальника станции Колочука, показавшего 32 версты в час, одиннадцатым — неизвестный в старой красноармейской шапке, а двенадцатого личность в фартуке высадила за дверь, рывкнув:

— Организуй на улице!

*

Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованную очередь повторными атаками.

— Анафемы! Мне ваша водка не нужна, мяса к обеду дайте взять! — кричала она, как кавалерийская труба.

— Какое тут мясо! — отвечала очередь. — Вон старушку с мясом!

— Плюнь, Пахомовна, — говорил женский голос из оврага, — теперь ничего не сделаешь! Теперича, пока водку не разберут...

— Глаз, глаз выдушите, куда ж ты прешь!

— В очередь!

— Выкиньте этого, в шапке, он сбоку залез!

— Сам ты мерзавец!

— Товарищи, будьте сознательны!

— Ох, не хватит...

— Попрошу не толкаться, я — начальник станции!

— Насчет водки — я сам начальник!

— Алкоголик ты, а не начальник!

Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий с счастливым лицом и двумя бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.

- Две бутылочки.
- Три двадцать четыре! — вопил фартук, — что кроме?
- Сельдей четыре штуки...
- Сельдей нету!
- Колбасы полтора фунта...
- Вася, колбаса осталась?
- Вышла!
- Колбасы уже нет, вышла!
- Так что ж есть?
- Сыр русско-швейцарский, сыр голландский...
- Давай русско-голландского полфунта...
- Тридцать две копейки? Три пятьдесят шесть! Сдачи сорок четыре копейки! Следующий!
- Две бутылочки...
- Какую закусочку?
- Какую хочешь. Истомилась моя душенька...
- Ничего, кроме зубного порошка, не имеется.
- Давай зубного порошка две коробки!
- Не желаю я вашего ситца!
- Без закуски не выдаем.
- Ты что ж, очумел, какая же ситец закуска?
- Как желаете...
- Чтоб ты на том свете ситцем закусывал!
- Попрошу не ругаться!
- Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы! Нельзя же, нельзя ж, в самом деле, народ ситцем кормить!
- Товарищ, не задерживайте!

Двести пятнадцатый номер получил две бутылки и фунт синьки, двести шестнадцатый — две бутылки и флакон одеколону, двести семнадцатый — две бутылки и пять фунтов черного хлеба, двести восемнадцатый — две бутылки и два куса туалетного мыла «Аромат девы», двести девятнадцатый — две и фунт стеариновых свечей, двести двадцатый — две и носки, да двести двадцать первый получил шиш.

Фартуки вдруг радостно охнули и закричали:

— Вся!

После этого на окне высочила надпись «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном...

Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура и тихо пела, покачиваясь:

**Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой цenia...**

«Гудок», 18 декабря 1925 г.



ПАРШИВЫЙ ТИП

Если верить статистике, сочиненной недавно неким гражданином (я сам ее читал) и гласящей, что на каждую тысячу людей приходится 2 гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был, несомненно, одним из двух гениев. Явился этот гений Пузырев домой и сказал своей жене:

— Итак, Марья, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли.

— Все-то ты проливаешь, негодяй, — ответила ему Марья. — Что ж мы с тобой будем жрать теперь?

— Не беспокойся, дорогая жена, — торжественно ответил Пузырев, — мы будем с тобой жрать!

С этими словами Пузырев укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею, как клещ.

Затем слесарь накрылся шапкой, губу зализал и направился в больницу на прием к доктору Порошкову.

*

— Что с вами, голубчик? — спросил у Пузырева Порошков.

— По... миру, гражданин доктор, — ответил Пузырев и ухватился за косяк.

— Да что вы? — удивился доктор. — Вид у вас превосходный.

— Пре... вос... ходный? Суди вас Бог за такие слова, — ответил угасающим голосом Пузырев и стал клониться на бок, как стебелек.

— Что ж вы чувствуете?

— Ут... ром... седни... кровью рвать стало... Ну, думаю, прощай... Пу... зырев... До приятного свидания на том свете... Будешь ты в раю, Пузырев... Прощай, говорю, Марья, жена моя... Не поминай лихом Пузырева!

— Кровью? — недоверчиво спросил врач и ухватился за живот Пузырева. — Кровью? Гм... Кровью, вы говорите? Тут болит?

— О! — ответил Пузырев и завел глаза, — завещание-то... успею написать?

— Товарищ Фенацетинов, — крикнул Порошков лекпому, — давайте желудочный зонд, исследование сока будем делать.

*

— Что за дьявольщина! — бормотал недоумевающий Порошков, глядя в сосуд, — кровь! Ей-богу, кровь. Первый раз вижу. При таком прекрасном внешнем состоянии...

— Прощай, белый свет, — говорил Пузырев, лежа на диване, — не стоять мне более у станка, не участвовать в заседаниях, не выносить мне более резолюций...

— Не унывайте, голубчик, — утешал его сердобольный Порошков.

— Что же это за болезнь такая, ядовитая? — спросил угасающий Пузырев.

— Да круглая язва желудка у вас. Но это ничего, можно поправиться, — во-первых, будете лежать в постели, во-вторых, я вам порошки дам.

— Стоит ли, доктор, — молвил Пузырев, — не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего слесаря, они пригодятся живым... Плюньте на Пузырева, он уже наполовину в гробу...

«Вот убивается парень!» — подумал жалостливый Порошков и накапал Пузыреву валерианки.

*

На круглой язве желудка Пузырев заработал 18 р. 79 к., освобождение от занятий и порошки. Порошки Пузырев

выбросил в клезет, а 18 р. 79 к. использовал таким образом: 79 копеек дал Марье на хозяйство, а 18 рублей пропил...

*

— Денег нету опять, дорогая Марья, — говорит Пузырев, — накапай-ка мне зубровки в глаза...

В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров вели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил:

— Прощай, прощай, белый свет! Пропали мои глазоньки от занятий у станка...

— Черт вас знает! — говорил доктор Каплин, — я такого злого воспаления в жизнь свою не видал. Отчего это у вас?

— Это у меня, вероятно, наследственное, дорогой доктор, — заметил рыдающий Пузырев.

*

На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе.

Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом: 2 рубля дал Марье, потом полтора рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером, и эти полтора и остальные двадцать пропил.

*

Неизвестно, где гениальный Пузырев спер пять порошков кофеину и все эти пять порошков слопал сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию к докторше Микстуриной, и докторша ахнула.

— У вас такой порок сердца, — говорила Микстурина,

только что кончившая университет, — что вас бы в Москву в клинику следовало свезти, там бы вас студенты на части разорвали. Прямо даже обидно, что такой порок даром пропадает!

*

Порочный Пузырев получил 48 р. и ездил на две недели в Кисловодск. 48 рублей он распределил таким образом: 8 рублей дал Марье, а остальные сорок истратил на знакомство с какой-то неизвестной блондинкой, которая попалась ему в поезде возле Минеральных Вод.

— Чем мне теперь заболеть, уж я и ума не приложу, — говорит сам себе Пузырев, — не иначе, как придется мне захворать громаднейшим нарывом на ноге.

Нарывом Пузырев заболел за тридцать копеек. Он пошел и купил на эти 30 копеек скипидару в аптеке. Затем у знакомого бухгалтера взял напрокат шприц, которым впрыскивают мышьяк, и при помощи этого шприца впрыснул себе скипидар в ногу. Получилась такая штука, что Пузырев даже сам взвыл.

«Ну, теперича мы на этом нарыве рублей 50 возьмем у этих оболтусов докторов», — думал Пузырев, ковыляя в больницу.

Но произошло несчастье.

В больнице сидела комиссия. И во главе ее сидел какой-то мрачный и несимпатичный. В золотых очках.

— Гм, — сказал несимпатичный и просверлил Пузырева взглядом сквозь золотые обручи, — нарыв, говоришь? Так... Снимай штаны!

Пузырев снял штаны и не успел оглянуться, как ему вскрыли нарыв.

— Гм, — сказал несимпатичный, — так это скипидар у тебя, стало быть, в нарыве? Как же он туда попал, объясни мне, любезный слесарь?..

— Не могу знать, — ответил Пузырев, чувствуя, что под ним разверзается бездна.

— А я могу! — сказали несимпатичные золотые очки.

— Не погубите, гражданин доктор, — сказал Пузырев

и зарыдал неподдельными слезами без всякого воспаления.

*

Но его все-таки погубили.
И так ему и надо.

МИХАИЛ

«Гудок», 19 декабря 1925 г.



ЧЕМПИОН МИРА

Фантазия в прозе

Прения у нас на съезде были горячие.
УДР в заключительном слове обозвал
своих оппонентов обормотами.

Из письма рабкора № 2244

Зал дышал, каждая душа напряглась, как струна. Участковый съезд шел на всех парусах. На эстраде стоял Удэер и щелкал, как соловей весной в роще:

— Дорогие товарищи! Подводя итоги моего краткого четырехчасового доклада, я должен сказать, положила руку на сердце (тут Удэер приложил руку к жилетке и сделал руладу голосом)... что работа на участке у нас выполнена на... 115%!

— Ого! — сказал бас на галерке.

— Я полагаю (и трель прозвучала в горле у Удэера)... что и прений по докладу быть не может. Что, в самом деле, преть понапрасну? Я кончил!

— Бис, — сказал бас на галерке, и зал моментально за-
сморкался и закашлялся.

— Есть желающие высказаться по докладу? — вежли-
вым голосом спросил председатель.

— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!

— Виноват, не сразу, товарищи... Зайчиков?.. Так! Пе-
ленкин?.. Сейчас, сию секунду, всех запишем, сию минуту!

— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!

— Эге, — молвил председатель, приятно улыбаясь, —
работа кипит, как говорится. Отлично. Отлично. Кто еще
желает?

— Меня запиши — Карнаухова!

— Всех запишем!

— Это что же... Они по поводу моего доклада разговари-
вать желают? — спросил Удэер и обидчиво скривил рот.

— Надо полагать, — ответил председатель.

— Ин-те-рес-но. О-очень, очень интересно, что такое
они могут выговорить, — сказал, багровея, Удэер, — чрез-
вычайно любопытно.

— Слово предоставляется тов. Зайчикову, — продолжал председатель и улыбнулся, как ангел.

— Выскажитесь, Зайчиков, — поощрил бас.

— Я хотел вот чего сказать, — начал смельчак Зайчиков, — как это такое замороженные платформы с балластом оказались? На какой они предмет? — (Удэр превратился из багрового в лилового.) — Оратор говорит, что на все 115 процентов, между тем такой балласт выгружать нельзя!

— Вы кончили? — спросил председатель, довольный оживлением работы.

— Чего уж тут кончать? Что ж мы, зубами будем этот балласт грызть?..

— Бис, бис, Зайчиков! — сказал бас.

— Вы каждому оратору в отдельности желаете выразить или всем вместе? — спросил председатель.

— Я в отдельности, — зловеще улыбнувшись, молвил Удэр, — я каждому в отдельности, хе-хе-хе, скажу.

Он откашлялся, зал утих.

— Прежде чем ответить на вопрос, почему заморожен балласт, зададим себе вопрос, что такое Зайчиков? — задумчиво сказал Удэр.

— Интересно, — подкрепил бас.

— Зайчиков — известный всему участку болван, — звучно заметил Удэр, и зал охнул.

— Распишись, Зайчиков, в получении.

— То есть как это? — спросил Зайчиков, а председатель неизвестно зачем сыграл на колокольчике нечто похожее на третий звонок к поезду, еще более этим оттенив выступление Удэра.

— Может быть, вы объясните ваши слова? — бледно-голубым голосом осведомился председатель.

— С наслаждением, — отозвался Удэр, — что у меня в ведении небесная канцелярия, что ли? Я, что ль, мороз посылал на участок? Ну, значит, и вопросы глупые, не к чему задавать.

— Чисто выражено, — заметил бас. — Зайчиков, ты жив?

— Слово предоставляется следующему оратору — Пеленкину, — выкрикнул председатель, растерянно улыбаясь.

— На каком основании рукавицы не выдали? И что мы,

голыми руками этот балласт будем сгружать? Все. Пушай он мне ответит.

— Каверзный вопрос, — прозвучал бас.

— Вам слово для ответа предоставляется, — заметил председатель.

— Много я видал ослов за сорок лет моей жизни, — начал Удзер...

— Вечер воспоминаний, — заметил бас...

— ... но такого, как предыдущий оратор, сколько мне припоминается, я еще не встречал. В самом деле, что я, Москвошвея, что ли? Или я перчаточный магазин на Петровке? Или, может, у меня фабрика есть, по мнению Пеленкина? Или, может быть, я рожу эти рукавицы? Нет! Я их родить не могу!

— Мудреная штука, — заметил бас.

— Стало быть, что ж он ко мне пристал? Мое дело — написать, я написал. Ну, и больше ничего.

— И Пеленкина угробил захватом головы, — отметил бас.

— Слово предоставляется следующему оратору.

— Вот чего непонятно, — заговорил следующий оратор, — я насчет 115 процентов... Сколько нас учит арифметика, а равно и другие науки, каждый предмет может иметь только сто процентов, а вот как мы переработались на 15 процентов, пушай объяснит.

— Ей-богу, интереснее, чем на борьбе в цирке, — заметил женский голос.

— Передний пояс, — пояснил бас.

Все взоры устремились на Удзера.

— Я с удовольствием объяснил бы это жаждущему оратору, — внушительно заговорил Удзер, — если бы он не производил впечатление явно дефективного человека. Что ж я буду дефективному объяснять? Судя по тому, как он тупо смотрит на меня, объяснений он моих не поймет!

— Его надо в дефективную колонию отдать, — отозвался бас, который любил натравливать одного борца на другого.

— Именно, товарищ! — подтвердил Удзер. — В самом деле: если работу выполнить всю целиком, так и будет работа на сто процентов. Так? А если мы еще сверх этого что-ни-

будь сделаем, ведь это лишние проценты пойдут? Верно ведь?

— Абсолютно! — подтвердил бас.

— Ну, вот мы, значит, сверх ста процентов, которые нам полагалось, еще наработали! Удовлетворяет это вас, глубокоуважаемый сэр? — осведомился Удзер у дефективного оратора.

— Да что вы дефективного спрашиваете? — ответил бас. — Ты с ним и не разговаривай, ты меня спроси. Меня удовлетворяет!

— Следующий оратор Фиусов, — пригласил председатель.

— Нет, я не хочу, — отозвался Фиусов.

— Почему? — спросил председатель.

— Так, чего-то не хочется, — отозвался Фиусов, — снимаю.

— Сдрейфил, парень? — спросил вездесущий бас.

— Сдрейфил!! — подтвердил зал.

— Ну, тогда Каблуков!

— Снимаю!

— Пелагеев!

— Не надо. Не хочу.

— И я не хочу! И я! И я! И я! И я! И я! И я! И я!

— Список ораторов исчерпан, — уныло сказал растерявшийся председатель, недовольный ослаблением оживления работы. — Никто, стало быть, возражать не желает?

— Никто!! — ответил зал.

— Bravo, бис, — грохнул бас на галерке, — поздравляю тебя Удзер. Всех положил на обе лопатки. Ты чемпион мира!

— Сеанс французской борьбы окончен, — заметил председатель, — то бишь... заседание закрывается.

И заседание с шумом закрылось.

МИХАИЛ

«Гудок», 25 декабря 1925 г.



ТАЙНА НЕСГОРАЕМОГО ШКАФА

Маленький уголовный роман

1. ТРОЕ И ХОХОЛКОВ

Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй — в пенсне и с портфелем, третий — с повышенной температурой и тоже с портфелем.

— Ревизионная комиссия, — отрекомендавались трое и добавили: — Позвольте нам члена месткома товарища Хохолкова.

Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал:

— Я — Хохолков, а что?

— Желательно посмотреть профсоюзные суммы, — ответила комиссия, радостно улыбнувшись.

— Ах, суммы? — сказал Хохолков и подавился слюной. — Сейчас, сейчас.

Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл.

— Это не тот ключ, — сказал Хохолков, — до чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работой, дорогие товарищи! Ведь это ключ от моей комнаты!

Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого.

— Я прямо кретин и неврастеник, — заметил Хохолков, — сую, черт знает что сую! Ведь это ключ от сундука от моего.

Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ.

— Мигрень у меня... Это от ворот ключ, — бормотал Хохолков.

После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул:

— Тьфу... от часов ключик...

— В штанах посмотри, — посоветовала ревизионная комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь.

— Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня, чай когда наливал, наклонился, он и выпал. Сейчас!

Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя:

— Посидите, товарищи, я сию минуту...

2. ЗАПИСКА ОТ ТРУПА

Товарищи посидели возле шкафа 23 часа.

— Вот черт! Засунул же куда-то! — говорила недоуменно ревизионная комиссия, — ну уж, долго ждали, подождем еще, сейчас придет.

Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания:

«Дорогие товарищи! В припадке меланхолии решил закончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, т. е. то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки, как сказал поэт:

Безобразен труп ужасный,
Посинел и весь распух,
Горемыка ли несчастный
Испустил свой грешный дух..

Вас уважающий труп Хохолкова».

3. УМНЫЙ СЛЕСАРЬ

— Попробуй, — сказали слесарю.

Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил:

— Разве мыслимо? У нас и инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать, да и та не откроет, да и занята она: ловит баграми Хохолкова.

— Как же нам теперича быть? — спросила ревизионная комиссия.

— Специалиста надо вызывать, — посоветовал слесарь.
— Скудова же тут специалист? — изумилась комиссия.
— Из тюремного замку, — ответил слесарь, ибо он был умен.

4. МЕСЬЕ МАЙОРЧИК

— Ромуальд Майорчик, — представился молодой бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом, — чем могу быть полезен?

— Очень приятно, — неуверенно отозвалась комиссия, — видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии вместе с ключом.

— Которая касса? — спросил Майорчик.

— Как которая? Вот она.

— Ах, вы это называете «кассой»? Извиняюсь, отозвался Майорчик, презрительно усмехаясь, — это — старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов. Касса, дорогие товарищи, — заговорил месье Майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу, — действительно хорошая была в Металлотресте в Одессе, американской фирмы «Робинзон и К°», с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским по кличке Золотая Фомка вскрыли в семь минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили Металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша, а мы взяли две с половиной тысячи червей.

— А где же теперь Золотая Фомка? — спросила комиссия, побледнев.

— В Москве, — ответил месье Майорчик и вздохнул, — ему еще два месяца осталось. Ничего, здоров, потолстел даже, говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там в Морагентстве интересную систему прислали. Германская, с двойной бронировкою стен.

Комиссия открыла рты, а Майорчик продолжал:

— Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шифром на замке и электрической сигнализацией.

Изящная штучка. В Ленинграде Бостанжогло, он же график Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд.

— Ну и что? — спросила потрясенная комиссия.

— Вексея! — грустно ответил Майорчик. — Пищестрест. Они потом гнилые консервы поставили... Ну, что же с них получить по вексеям? Ровно ничего! Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что ж? — И Майорчик презрительно похлопал по кассе. — К-калоша. В ней и деньги-то неприлично держать, да их там, наверно, и нет.

— Как это — нету? — сказала потрясенная комиссия. — И быть этого не может. Восемь тысяч четырехста рублей должно быть в кассе.

— Сомневаюсь, — заметил Майорчик, — не такой у нее вид, чтобы в ней было восемь тысяч четырехста.

— Как это по виду вы можете говорить?

Майорчик обиделся.

— Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера.

Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку, затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно.

— Восемь тысяч четырехста, — иронически усмехался Майорчик, уводимый человеком с пистолетом, — держи шире карман, в ей восемь рублей нельзя держать, а вы — восемь тысяч четырехста!

5. ЗАГАДОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Действительно, никаких восьми тысяч четырехсот там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представлявший собой уголок, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова:

Мар..
золот...
1400 р...

— Позвать эксперта, — распорядилась комиссия.

Эксперт явился и расшифровал документ таким образом:

Марта — такого-то числа... золотой валютой... 1400 рублей.

— Где же остальные семь тысяч? — стонала комиссия.

6. ТАЙНА ДОКУМЕНТА РАЗГАДАНА

У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее:

«....уся, милая, бесценная,
....ая, целую вас
....аз и непременно приду сегодня вечером.
Ваш Хохолков».

Сложили обе половины. И тогда комиссия взвыла:

— Где же все восемь тысяч четыреста? Поганец труп, куда же он задевал профсоюзные деньги?! И куда он сам девался, и почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?!

7. СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ

И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком.

— С нами крестная сила! — воскликнула комиссия и стала пятиться.

И было от чего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневшим и не распух...

— Позвольте, да ведь это Хохолков!

— Ей-богу, это не я! Я просто похож, — ответил незнакомец, — тот Хохолков потонул, вы про него и забудьте. Моя же фамилия — Иванов, я недавно приехал. Оставьте меня в покое!

— Нет, позволь, позволь, — сказала комиссия, держа

Хохолкова за фалду, — ты все-таки объясни: и у тебя родинка на правой щеке, у тебя глаза бегают, и у Хохолкова бегают. И пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая, ну, так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где восемь тысяч четыреста?!

— Не погубите, товарищи, — вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени, — я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести, и вот ключ от кассы, а восьми тысяч четырехсот не ищите, дорогие товарищи. Их уже нет. Пожрала их гадина Маруська, местная артистка, которая через день делает себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи, но, принимая во внимание мое происхождение...

— Ах ты, поросенок, поросенок, — сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели.

8.БЛАГОПОЛУЧНЫЙ КОНЕЦ

И привели в суд. И судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с Майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою, на чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.

М. НЕИЗВЕСТНЫЙ

«Гудок», 18 апреля 1926 г.



АКАФИСТ НАШЕМУ КАЧЕСТВУ

Следует заговорить полным голосом о
качестве нашей продукции...

Из речи

Вот именно. Я давно уже собираюсь заговорить. И именно полным голосом.

В самом деле, я, правда, не изобретал тепловоза профессора Ломоносова и не принимал у гроссмейстера Капабланки ничью под гром аплодисментов восхищенных комсомольцев в Бассейном зале Дома союзов. Я человек форменно маленький, но, тем не менее, я имею право ходить в носках за свои трудовые деньги.

Ведь носки, в конце концов, не рысаки в яблоках и не бриллиантовые кольца. Носки — предмет первой необходимости...

*

Но прежде чем говорить о носках, я расскажу про шубу на белкином меху. Шуба еще важнее носков.

Получив ордер на 210 рублей по рабочему кредиту, я двинулся в государственный магазин.

Перед тем как двинуться, я имел разговор со своим товарищем, человеком чрезвычайной опытности, каковой человек был с ног до головы одет в сомнительные предметы, приобретенные по рабочему кредиту. Он (человек) сказал мне так:

— А... ордерок. Ну, будешь ты несчастным человеком. Во всяком случае, я тебя научу: когда придешь в магазин, ты не показывай ордера, а выбери сначала вещь. Пусть они тебя примут за буржуя, а потом ордер и вынешь. Вот увидишь, что будет...

«Странно... странно...» — подумал я и явился в магазин.

— Позвольте мне самую лучшую шубу, какая у вас есть.

Самую дорогую, самую теплую, самую красивую и самую элегантную. Я хочу носить хорошую шубу, — так сказал я буржуазным голосом.

После этих слов с молодым человеком, стоящим у вешалок, на которых виднелась бездна шуб, сделался припадок.

Во-первых, он, как белка, взобрался куда-то наверх и потом прикатился обратно. Затем нырнул за какую-то таинственную занавеску и выпорхнул с шубой в руках.

— Прочная ли эта шуба? — спросил я, любуясь на себя в зеркало в голубой раме.

На это молодой человек ответил так:

— За внуков ваших я не ручаюсь, но сын ваш будет венчаться в этой шубе.

— Сколько она стоит?

— По теперешним временам ей нет цены, — ответил, обворожительно улыбаясь, этот бандит из магазина, — но мы из любви к человечеству и чтобы рекламировать качество нашей фирмы, продадим ее за 205 рублей. Миль пардон... Я сниму с вас пушинку.

— Я беру ее. Вот вам ордер, — сказал я, — а на остающиеся пять рублей позвольте мне три пары кальсон и полтинник сдачи. Я по рабочему кредиту.

Ах, жаль, что нельзя было сфотографировать этого преступника во время моих слов. Нижняя челюсть его легла на его галстук... Он сделал такое движение, как будто собирался отнять у меня шубу, но было поздно. И в шубе и с кальсонами я ушел из госмагазина.

*

Это было в ноябре. А через 4 (четыре) месяца — в марте я пришел по делу в один дом и услышал шепот девочки:

— Мама... Там к папе какой-то оборванный пришел. «Так оборванный. Как это так — оборванный. Я — оборванный. 205 рублей».

Я бросился к зеркалу, и в марте повисла моя челюсть. В углах карманов были трещины, все петли лохматились. Барашек на воротнике треснул в трех местах, локти лоснились, швы белели. А проклятая госбелка, вследствие неизвестной мне болезни, облысела в двух местах. В остальных

же местах ее мех стал похож на театральный старческий парик.

За белку я плачу до сих пор. Каждый месяц.

Ботинки я купил в прошлом мае. 12-го числа. А четырнадцатого того же мая, проходя мимо Николая Васильевича Гоголя, сидящего на Арбате, услышал шарканье. Подняв правую ногу, я убедился, что правый ботинок раскрыл пасть. Из нее вывалился лоскут газеты.

— Что же это такое, глубокоуважаемый Николай Васильевич? — спросил я. — Что это такое, в самом деле? Ведь позавчера это были блистательные ботинки без каких бы то ни было признаков болезни?

Но Гоголь был безмолвен и печален на своем постаменте.

*

За ботинки я отдал 35 рублей.

*

Подвязки дамские под названием «Ле жартьер», — за 4 с полтиной, и они рассыпались через две недели.

*

Галоши прослужили два с половиной месяца, а с наступлением мокрой погоды служить отказались. Очевидно, это галоши, приспособленные только к сухости. И пока они стояли в передней — были ничего... галоши как галоши. Но лишь только хлынули внешние воды, они заболели и кончились.

*

И я заболел гриппом.

*

Но ведь, кажется, хотел сказать о носках. Нет. Не буду я о носках говорить ничего, чтобы не получить дополнение к гриппу еще развитие желчи. Не буду.

*

Достаточно. В углу висит белка. Я ее, лысой дряни, — кредитный раб. В шкафу брюки, блестящие на том же месте, где, при сидении, они соприкасались со стулом, на гвозде галстух с бахромой, на столе венские сосиски. На постели моя жена, откушавшая венских сосисков, а после них иноземцевых капель... Довольно.

*

Пора, пора нам заговорить полным голосом о качестве нашей продукции.

Вечерний выпуск «Красной газеты», (Ленинград), 15 мая 1926 г.



МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

На грязно-коричневой стене паровозного сарая висел белый плакат, возле которого стояла восхищенная толпа.

И немудрено. На плакате было изображено:

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!
ВНИМАНИЕ!

В понедельник, 26 апреля в 4^{1/2} часа, в паровозном сарае при мастерских им. т. Урицкого состоится

Общее собрание.

Порядок дня.

1. Отчет месткома.

2. Обсуждение наказа новому месткому.

3. Перевыборы месткома.

Играет оркестр духовой музыки!»

*

Через день после появления означенного плаката, именно в среду, в вагонных мастерских заседал вагонный местком.

— Ну, Петя, как у них прошло? — спросил мрачный председатель у секретаря.

— Полный сбор, — ответил Петя, сто процентов ихних приволоклось, да наших по контрамаркам было человек пятьдесят, оркестр слушали.

— Ах, халтурщики, ах, арапы, — расстроился председатель, — вот, ловчили собачьи!

— Ничего они не ловчили, — отозвался член месткома товарищ Практичный, — а просто тамошний председатель Седулаев — умница! Знает, чем массу за жабры взять. А мы сидим, гнием. У нас на прошлом собрании сколько было?

— Семнадцать человек, — ответил Петя-секретарь.

— Ну, вот, а у них две тысячи народу! Да и семнадцать только потому оказалось, что я вовремя двери в столярный цех запер, не успел убежать народ!

— Стало быть, что ты предлагаешь? — спросил председатель встревоженно.

— Да предложение тут простое, — отозвался Практичный, — перешибить их надо.

— Ну, я ж их и перешибу! — вскричал председатель, зажженный словами Практичного. — Я покажу антрепренеру Седулаеву, что далеко кулику до Петрова дня! Далеко ему до вагонного месткома! Я им такое устрою, что слава о нас загремит по всему Союзу... Берите, братцы, бумагу, будем сочинять.

*

На другой день, именно в четверг, на грязной доске вагонного сарая висел плакат в три сажени:

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!»

Завтра, в пятницу, в 8 часов вечера, в здании вагонного сарая состоится грандиозное музыкально-вокальное общее собрание при участии лучших сил артистов и месткома, известных в Европе и Азии.

ПРОГРАММА:

1. Доклад о международном положении. Исполнит любимец публики и председатель месткома Хиялкини.
2. Вальс из «Фауста». Оркестр местного театра.
3. «Касса взаимопомощи» — водевиль в гриме и костюмах разыгрывают артисты.

Действующие лица:

Председатель бюро кассы — артист музыкальной комедии Греков.

Клиент — артист Ярон.

Антракт с буфетом и напитками.

4. Первый раз в СССР!!!

Доклад по материализму прочтет Черная Маска.

Неизвестный? Кто он?

Угадавшему будет выдан приз в виде голой женщины из терракота и аквариума с золотыми рыбками.

5. Отчет о деятельности бывшего месткома. — Живая картина в черном бархате под аккомпанемент похоронного марша г. Шопена.

6. Выборы нового месткома. Общее веселье. Выбранные получают призы якобы за красоту. Участвует весь зал. Море смеха.
7. Текущие дела и романсы мирового артиста Дмитрия Смирнова!
8. Мертвая петля. — Исполнит председатель Хилякин на велосипеде.

Буфет, серпантин, танцы до 6 часов утра.
У рояля маэстро Океанчик.

Вход — пятачок.

Дети и красноармейцы платят половину.

АНОНС!!!

На следующем собрании бой быков».

*

Уму непостижимо человеческому, что творилось в пятицу в вагонном сарае.

Обычно вмещающий 2000 человек, он вместил две с половиной тысячи. Сидели в сорок рядов на табуретах, сидели на подоконниках и на земле, сидели на станках, а на крюках гроздьями висели мальчишки. В воздухе плыл пар от дыхания.

В отдалении слышался грохот, это соседи-паровозники били стекла, рвались на общее собрание.

— Что ж мы, хуже вагонных?! — кричали они. — Каждому лестно попасть на общее собрание за пятачок!!

Конная милиция свистала и уговаривала:

— Товарищи, будьте сознательны, не последнее собрание, успеете, приходите на бой быков...

— Оторвались от массы! — выли проводники. — Ихний вагонный местком спит и во сне видит, как бы рабочим удовольствие сделать: то выборы, то собрание устроит, а наши спят беспробудно!

— Товарищи! что вы делаете?!

Внутри сарая, на эстраде, устроенной в доменной печи, стоял артист во фраке и заливался соловьем: «Сердце красавицы!.. Склонно к измене!!!»

— Верно! Правильно! — кричали вагонные.

— Бис, бис, бис!!!

— Потолок бы не треснул, боюсь, — шипел Хилякин с бантом в петлице, — зови рабочих, чтоб натягивали проволоку для мертвой петли.

— Смирнова!!! — кричали машинисты.

— Смирнова!!! — кричали рабочие.
— Бей стекла! — кричали паровозники на улице. — Под-
жечь ихний театр!!!
— Товарищи!! — кричала милиция.

*

В 2 часа ночи в вагонном сарае царила благоговейная тишина. Было пусто. Только на бывшей эстраде лежал некто, покрытый простыней, а возле него стояли унылые члены месткома, Петя-секретарь и та же милиция, но уже в пешем строю.

Писали протокол.

«Уважаемый председатель вагонного месткома Хилякин упал во время исполнения мертвой петли с высоты вагонного сарая и, ударившись головой о публику, умер путем переломления позвоночного столба. Мир твоему праху, неусыпный труженик и организатор».

Светало в сарае.

МИХАИЛ

«Гудок», 28 мая 1926 г.



РАДИО-ПЕТЯ

(Записки пострадавшего)

1 числа.

Познакомился с Петей, проживающим у нас в жилтовариществе. Петя — мальчик исключительных способностей. Целый день сидит на крыше.

2 числа.

Петя был у меня в гостях. Принес маленькую черную коробку, и между нами произошел нижеследующий разговор:

П е т я (*восторженно*). Ах, Николай Иванович, человечество тысячу лет искало волшебный кристалл, заключенный в этой коробке.

Я. Я очень рад, что оно его, наконец, нашло.

П е т я. Я удивляюсь вам, Николай Иванович, как вы, человек интеллигентный и имеющий дивную жилплощадь в лице вашей комнаты, можете обходиться без радио. Поймите, что в половине третьего, ночью, вы, лежа в постели, можете слышать колокола Вестминстерского аббатства.

Я. Я не уверен, Петя, что колокола в половине третьего ночи могут доставить удовольствие.

П е т я. Ну, если вы не хотите колоколов, вам будут передавать по утрам справки о валюте с нью-йоркской биржи. Наконец, если вы не хотите Нью-Йорка, вечером вы услышите, сидя у себя в халате, как поет Кармен в Большом театре! Вы закроете глаза и: «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел...»

Я (*соблазнившись*). Во что обойдется ангел, дорогой Петя?

П е т я (*радостно*). За одиннадцать рублей я поставлю вам простое радио, а за тринадцать — с громкоговорителем на двадцать пять человек.

Я. Ну зачем же на такое большое количество? Я холост...
П е т я. Меньше не бывает.

Я. Хорошо, Петя. Вот три... еще три... шесть и еще семь.
Тринадцать, ставьте.

П е т я (*улетая из комнаты*). Вы ахнете, Николай Иванович.

3 числа.

Я действительно ахнул, потому что Петя проломил у меня стену в комнате, вследствие чего обвалился огромный пласт штукатурки и перебил всю посуду у меня на столе.

4 числа.

Петя объявил, что он сделает все хозяйственным образом, заземлит через водопровод, а штепсель — от электрического освещения. Закончил разговор Петя словами:

— Теперь я отправляюсь на крышу.

5 числа.

Петя упал с крыши и вывихнул ногу.

10 числа.

Петину ногу починили, и он приступил к работам в моей комнате. Одна проволока протянута к водопроводной раковине, а другая — к электрическому освещению.

11 числа.

В 8 вечера потухло электричество во всем доме. Был невероятный скандал, закончившийся заседанием жилтоварищества, которое неожиданно вынесло постановление, что я — лицо свободной профессии и буду платить по 4 рубля за квадратную сажень. Монтеры починили электричество.

12 числа.

Готово. В комнате серая пасть, но пока она молчит: не хватает какого-то винта.

13 числа.

Это чудовищно! Старушка, мать председателя жилтоварищества, подошла за водой к раковине, причем раковина сказала ей басом: «Крест и маузер!»... при этом этой старой

дуре послышалось, будто бы раковина прибавила «бабушка», и старушка теперь лежит в горячке. Я начинаю рассказывать в своей затее.

Вечером я прочитал в газете: «Сегодня трансляция оперы «Фауст» из Большого театра на волне в 1000 метров». С замиранием сердца двинул рычажок, как учил меня Петя. Ангел полуночи заговорил волчьим голосом в пасти:

— Говорю из Большого театра, из Большого. Вы слушаете? Из Большого, слушайте. Если вы хотите купить ботинки, то вы можете сделать это в ГУМе. Запишите в свой блокнот: в ГУМе (гнуcаво), в ГУМе.

— Странная опера, — сказал я пасти, — кто это говорит?

— Там же вы можете приобрести самовар и белье. Запомните — белье. Из Большого театра говорю. Белье только в ГУМе. А теперь я даю зал. Даю зал. Даю зал. Вот я дал зал. Свет потушили. Свет потушили. Свет опять зажгли. Антракт продолжится еще десять минут, поэтому послушайте пока урок английского языка. До свиданья. По-английски: гуд бай. Запомните: гуд бай.

Я сдвинул рычажок в сторону, и в пасти потухли всякие звуки. Через четверть часа я поставил рычажок на тысячу метров, тотчас в комнате заворнало, как на сковородке, и странный бас запел:

— Расскажите вы ей, цветы мои...

Вой и треск сопровождали эту арию. На улице возле моей квартиры стали останавливаться прохожие. Слышно было, как в коридоре скопились обитатели моей квартиры.

— Что у вас происходит, Николай Иванович? — спросил голос, — и я узнал в голосе председателя жилтоварищества.

— Оставьте меня в покое, это — радио! — сказал я.

— В одиннадцать часов попрошу прекратить это, — сказал голос из замочной скважины.

Я прекратил это раньше, потому что не мог больше выносить вой из пасти.

14 числа.

Сегодня ночью проснулся в холодном поту.

Пасть сказала весело: «Отойдите на два шага».

Я босиком вскочил с постели и отошел.

— Ну, как теперь? — спросила пасть.

— Очень плохо, — ответил я, чувствуя, как стынют босые ноги на холодном полу.

— Запятая и Азербайджан, — сказала пасть.

— Что вам надо?! — спросил я жалобно.

— Это я, Калуга, — отозвалась пасть, — запятая, и с большой буквы. Полиция стреляла в воздух, запятая, а демонстранты, запятая...

Я стукнул кулаком по рычажку, и пасть смолкла.

15 числа.

Днем явился вежливый человек и сказал:

— Я контролер. Давно ли у вас эта штука?

— Два дня, — ответил я, предчувствуя недоброе.

— Вы, стало быть, радиозаяц, да еще с громкоговорителем, — ответил контролер, — вам придется заплатить двадцать четыре рубля штрафа, и взять разрешение.

— Это не я радиозаяц, а Петя радиомерзавец, — ответил я, — он меня ни о чем не предупредил и, кроме того, испортил всю комнату и отношения с окружающими. Вот двадцать четыре рубля и еще шесть рублей я дам тому, кто исправит эту штуку.

— Мы вам пришлем специалиста, — ответил контролер и выдал мне квитанцию на двадцать четыре рубля.

16 числа.

Петя исчез и больше не являлся...

МИХАИЛ

«Гудок», 4 июня 1926 г.



БУБНОВАЯ ИСТОРИЯ

1. СОН И ГОСБАНК

Мохрикову в номере гостиницы приснился сон — громаднейший бубновый туз на ножках и с лентами на груди, на которых были написаны отвратительные лозунги: «Кончил дело — гуляй смело!» и «Туберкулезные, не глотайте мокроту!»

— Какая смешная пакость! Тьфу! — молвил Мохриков и очнулся. Бодро оделся, взял портфель и отправился в Госбанк. В Госбанке Мохриков мыкался часа два и вышел из него, имея в портфеле девять тысяч рублей.

Человек, получивший деньги, хотя бы и казенные, чувствует себя совершенно особенным образом. Мохрикову показалось, что он стал выше ростом на Кузнецком мосту.

— Не толкайтесь, гражданин, — сурово и вежливо сказал Мохриков и даже хотел прибавить: — у меня девять тысяч в портфеле, — но потом раздумал.

А на Кузнецком кипело, как в чайнике. Ежесекундно пролетали мягкие машины, в витринах сверкало, переливалось, лоснилось, и сам Мохриков отражался в них на ходу с портфелем то прямо, то кверху ногами.

— Упоительный городишко Москва, — начал размышлять Мохриков, — прямо элегантный город!

Сладостные и преступные мечтания вдруг пузырями закипели в мозгу Мохрикова:

— Вообразите себе, дорогие товарищи... вдруг сгорает Госбанк! Гм... Как сгорает? Очень просто, разве он негораемый? Приезжают команды, пожарные тушат. Только шиш с маслом — не потушишь, если как следует загорится! И вот вообразите: все сгорело к чертовой матери — бухгалтеры сгорели и ассигновки... И, стало быть, у меня в кармане... Ах, да!.. Ведь аккредитив-то из Ростова-на-Дону? Ах,

шут тебя возьми. Ну, ладно, я приезжаю в Ростов-на-Дону, а наш красный директор взял да и помер от разрыва сердца, который аккредитив подписал! И кроме того, опять пожар, и сгорели все исходящие, выходящие, входящие — все ко псам сгорело. Хи-хи! Ищи тогда концов. И вот в кармане у меня беспризорных девять тысяч. Хи-хи! Ах, если б знал наш красный директор, о чем мечтает Мохриков, но он не узнает никогда... Что бы я сделал прежде всего?..

2. ОНА!

...Прежде всего...

Она вынырнула с Петровки. Юбка до колен, клетчатая. Ножки — стройности совершенно неслыханной, в кремовых чулках и лакированных туфельках. На голове сидела шапочка, похожая на цветок колокольчик. Глазки — понятное дело. А рот был малиновый и пылал, как пожар.

«Кончил дело, гуляй смело», — почему-то вспомнил Мохриков сон и подумал: «Дама что надо. Ах, какой город Москва! Прежде всего, если бы сгорел красный директор... Фу! вот талия...

— Пардон! — сказал Мохриков.

— Я на улице не знакомлсь, — сказала она и гордо сверкнула из-под колокольчика.

— Пардон! — молвил ошеломленный Мохриков, — я ничего!..

— Странная манера, — говорила она, колыхая клетчатыми бедрами, — увидеть даму и сейчас же пристать. Вы, вероятно, провинциал?

— Ничего подобного, я из Ростова, сударыня, на Дону. Вы не подумайте, чтобы я был какая-нибудь сволочь. Я — инкассатор.

— Красивая фамилия, — сказала она.

— Пардон, — отозвался Мохриков сладким голосом, — это должность моя такая: инкассатор из Ростова-на-Дону.

Фамилия же моя Мохриков, позвольте представиться. Я из литовских дворян. Основная моя фамилия, предки когда-то носили — Мохр. Я даже в гимназии учился.

— На Мопр похоже, — сказала она.

— Помилуйте! Хи-хи!

А что значит «инкассатор»?

— Ответственная должность, мадам. Деньги получаю в банках по девять, по двенадцать тысяч и даже больше. Тяжело и трудно, но ничего. Облечен доверием...

«Говорил я себе, чтобы штаны в полоску купить. Разве можно в таких штанах с дамой разговаривать на Кузнецком? Срам!»

— Скажите, пожалуйста: деньги? Это интересно!

— Да-с, хи-хи! Что деньги! Деньги — тлен!

— А вы женаты?

— Нет, а вы такие молодые, мадам, и одинокие, как...

— Как что?

— Хи-хи, былинка.

— Ха-ха!

— Хи-хи.

.....
— Сухаревская-садовая, № 201... Вы ужасно дерзкий инкассатор!

— Ах, что вы! Мерси. Только в номер заеду переоденусь. У меня в номере костюмов — прямо гибель. Это дорожный, так сказать, не обращайтесь внимания — рвань. А какая у вас шапочка очаровательная? Это что вышито на ней?

— Карты. Тройка, семерка, туз.

— Ах, какая прелесть. Хи-хи!

— Ха-ха!

3. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

— Побрейте меня, — сказал Мохриков, прижимая к сердцу девять тысяч, в зеркальном зале.

— Слшсс... С волосами что прикажете?

— Того, этого, причешите.

— Ваня, прибор!

Через четверть часа Мохриков, пахнувший ландышем, стоял у прилавка и говорил:

— Покажите мне лакированные полуботинки...

Через полчаса на Петровке в магазине под золотой вывеской «Готовое платье» он говорил:

— А у вас где-нибудь, может быть, есть такая комнатка,

этакая какая-нибудь, отдельная, где можно было бы брючки переодеть?..

— Пожалуйста.

Когда Мохриков вышел на Петровку, публика оборачивалась и смотрела на его ноги. Извозчики с козел говорили:

— Пожа, пожа, пожа...

Мохриков отражался в витринах и думал: «Я похож на артиста императорских театров...»

4. НА РАССВЕТЕ

... Когда вся Москва была голубого цвета, и коты, которые днем пребывают неизвестно где, ночью ползали, как змеи, из подворотни в подворотню, на Сухаревской-Садовой стоял Мохриков, прижимая портфель к груди, и, покачиваясь, бормотал:

— М-да... Сельтерской воды или пива если я сейчас не выпью, я, дорогие товарищи, помру, и девять тысяч подберут дворники на улице... То есть не девять, позвольте... Нет, не девять... А вот что я вам скажу: ботинки — сорок пять рублей... Да, а где еще девять червонцев? Да, брился я — рубль пятнадцать... Довольно это паскудно выходит... Впрочем, там аванс сейчас я возьму. А как он мне не даст? Вдруг я приезжаю, говорят, что от разрыва сердца помер, нового назначили. Комичная история тогда выйдет. Дорогой Мохриков, спросят, а где же двести пятьдесят рублей? Потерял их, Мохриков, что ли? Нет, пусть уж он лучше не умирает, сукин кот... Извозчик, где сейчас пива можно выпить в вашей паршивой Москве?

— Пожа, пожа, пожа... В казине.

— Это самое... как его зовут?.. Подъезжай сюда. Сколько?

— Два с полтиной.

— И... э... ну, вот, что ты? Как тебя зовут?.. Поезжай.

5. О, КАРТЫ!..

Человек в шоколадном костюме и ослепительном белье, с перстнем на пальце и татуированным якорем на кисти, с

фокусной ловкостью длинной белой лопаткой разбрасывал по столу металлические круглые марки и деньги и говорил:

— Банко сюиви! Пардон, месье, игра продолжается!..

За круглыми столами спали трое, положивши головы на руки, подобно бездомным детям. В воздухе плыл сизый табачный дым. Звенели звоночки, и бегали с сумочками артельщики, меняли деньги на марки. В голове у Мохрикова после горшановского пива несколько светлело, подобно тому, как светлело за окнами.

— Месье, чего же вы стоите на ногах? — обратился к нему человек с якорем и перстнем. — Есть место, прошу занимайте. Банко сюиви!

— Мерси! — мутно сказал Мохриков и вдруг машинально плюхнулся в кресло.

— Червонец свободен, — сказал человек с якорем и спросил у Мохрикова. — Угодно, месье?

— Мерси! — диким голосом сказал Мохриков...

6. КОНЕЦ ИСТОРИИ

Озабоченный и очень вежливый человек сидел за письменным столом в учреждении. Дверь открылась, и курьер впустил Мохрикова. Мохриков имел такой вид: на ногах у него были лакированные ботинки, в руках портфель, на голове пух, а под глазами — зеленоватые гнилые тени, вследствие чего курносый нос Мохрикова был похож на нос покойника. Черные косяки мелькали перед глазами у Мохрикова и изредка прерывались черными полосками, похожими на змей; когда же он взвел глаза на потолок, ему показалось, что тот, как звездами, усеян бубновыми тузами.

— Я вас слушаю, — сказал человек за столом.

— Случилось чрезвычайно важное происшествие, — низким басом сказал Мохриков, — такое происшествие, прямо неопишемое.

Голос его дрогнул и вдруг превратился в тонкий фальцет.

— Слушаю вас, — сказал человек.

— Вот портфель, — сказал Мохриков, — извольте видеть — дыра, — доложил Мохриков и показал.

Действительно, в портфеле была узкая дыра.

— Да, дыра, — сказал человек.

Помолчали.

— В трамвай сел, — сказал Мохриков, — вылезая, и вот (он вторично указал на дыру) — ножиком взрезали!

— А что было в портфеле? — спросил человек равнодушно.

— Девять тысяч, — ответил Мохриков детским голосом.

— Ваши?

— Казенные, — беззвучно ответил Мохриков.

— В каком трамвае вырезали? — спросил человек, и в глазах у него появилось участливое любопытство.

— Э... э... в этом, как его, в двадцать седьмом...

— Когда?

— Только что, вот сейчас. В банке получил, сел в трамвай и... прямо форменный ужас...

— Так. Фамилия ваша как?

— Мохриков. Инкассатор из Ростова-на-Дону.

— Происхождение?

— Отец от станка, мать кооперативная, — сказал жалобным голосом Мохриков. — Прямо погибаю, что мне теперича делать, ума не приложу.

— Сегодня банк заперт, — сказал человек, — в воскресенье. Вы, наверное, перепутали, гражданин. Вчера вы деньги получили?

«Я погиб», — подумал Мохриков, и опять тузы замескали у него в глазах, как ласточки, потом он хриплым голосом добавил:

— Да это я вчера, которые эти... д... деньги получил.

— А где были вечером вчера? — спросил человек.

— Э... э... Ну, натурально в номере. В общежитии, где становился...

— В казино не заезжали?

Мохриков бледно усмехнулся:

— Что вы! Что вы! Я даже это... не это... не, не был, да...

— Да вы лучше скажите, — участливо сказал человек, — а то ведь каждый приходит и говорит — трамвай, трамвай, даже скучно стало. Дело ваше такое, что все равно лучше прямо говорить, а то, знаете, у вас пух на голове, например, и вообще. И в трамвае вы ни в каком не ездили...

— Был, — вдруг сказал Мохриков и всхлипнул.

— Ну, вот и гораздо проще, — оживился человек за столом. — И мне удобнее, и вам.

И, позвонивши, сказал в открывшуюся дверь:

— Товарищ Вахромеев, вот гражданина нужно будет проводить...

И Мохрикова повел Вахромеев.

МИХАИЛ

«Гудок», 8 июля 1926 г.



ПЬЯНЫЙ ПАРОВОЗ

Станция... пьет всем коллективом, начиная от стрелочника до ДСП включительно, за малым исключением...

Из газеты «Гудок»

Скорый поезд подходил с грозным свистом. При самом входе на стрелку мощный паровоз вдруг вздрогнул, затем подпрыгнул, потом стал качаться, как бы раздумывая, на какую сторону ему свалиться. Машинист в ужасе взвизгнул и дал тормоз так, что в первом вагоне в уборной лопнуло стекло, а в ресторане пять пассажиров обварились горячим чаем. Поезд стал. И машинист с искаженным лицом высулся в окошко.

На балкончике стрелочного здания стоял растерзанный человек в одном белье, с багровым лицом. В левой руке у него был зеленый грязный флаг, а в правой бутерброд с копченой колбасой.

— Ты что ж, сдурел?! — завопил машинист, размахивая руками.

Из всех окон высунулись бледные пассажиры.

Человек на балкончике икнул и улыбнулся благодушно.

— Прошибся маленько, — ответил он и продолжал: — Поставил стрелку, а... потом, гляжу... тебя нечистая сила в тупик несет! Я и стал передвигать. Натыкали этих стрелок, шут их знает зачем! Запутайшсьси. Главное, что ежели б я спец был...

— Ты пьян, каналья, — сказал машинист, вздрагивая от пережитого страха, — пьян на посту?! Ты ж народ мог погубить!!!

— Нич...чего мудреного, — согласился человек с колбасой, — главное, что если б я стрелочник был со специальным образованием... А то ведь я портной...

— Что ты несешь?! — спросил машинист.

— Ничего я не несу, — сказал человек, — кум я стрелочников. На свадьбе был. Сам-то стрелочник негоден стал к

употреблению, лежит. А мне супруга ихняя говорит: иди, говорит, Пафнutyч, переставь стрелку скорому поезду...

— Это ужасно!!! Кош-мар! Под суд их!! — кричали пассажиры.

— Ну уж и под суд, — вяло сказал человек с колбасой, — главное, если бы вы свалились, ну, тогда так... А то ведь пронесло благополучно. Ну, и слава Богу!

— Ну, дай только мне до платформы доехать, — сквозь зубы сказал машинист, — там мы тебе такой протокол составим...

— Доезжай, доезжай, — хихикнул человек с колбасой, — там, брат, такое происходит... не до протоколу таперича. У нас помощник начальника серебряную свадьбу справляет!

Машинист засвистел, тронул рычаг и, осторожно выглядывая в окошко, пополз к платформе. Вагоны дрогнули и остановились. Из всех окон глядели пораженные пассажиры.

Главный кондуктор засвистел и вылез.

Фигура в красной фуражке, в расстегнутом кителе, багровая и радостная, растопырила руки и закричала:

— Ба! Неожиданная встреча! К-каво я вижу? Если меня не обманывает зрение... ик... Это Сусков, главный кондуктор, с которым я как дружил на станции Ржев-пассажирский?! Братцы, радость, Сусков приехал со скорым поездом!

В ответ на крик багровые физиономии высунулись из окон станции и закричали:

— Ура! Сусков, давай его к нам!

Заиграла гармоника.

— Да, Сусков... — ответил ошеломленный обер, задыхаясь от спиртового запаху, — будьте добры нам протокол и потом жезл. Мы спешим...

— Ну вот... Пять лет с человеком не виделся, и вот да тебе! Он спешит! Может быть, тебе скипетр еще дать? Сви-нья ты, Сусков, а не обер-кондуктор!.. Пойми, у меня радостный день. И не пушу... И не проси! Семафор на запор, и никаких! Раздавим по банке, вспомним старину... Проведемте, друзья, эту ночь веселей!

— Товарищ десепе... что вы?... Вы, извините, пьяны. Нам в Москву надо!

— Чудак, что ты там забыл, в Москве? Плюнь: жарница,

пыль... Завтра приедешь... Мы рады живому человеку. Живем здесь в глуши. Рады свежему человеку...

— Да помилуйте, у меня пассажиры, что вы говорите?

— Плюнь ты на них, делать им нечего, вот они и шляют по железным дорогам. Намедни приходит скорый... спрашиваю: куда вы? В Крым, отвечают... На тебе! Все люди как люди, а они в Крым!.. Пьянствовать, наверно, едут.

— Это кошмар! — кричали в окна вагонов.

— Мы будем жаловаться в Совнарком!

— Ах... так? — сказала фигура и рассердилась. — Ябедничать? Кто сказал — жаловаться? Вы?

— Я сказал, — взвизгнула фигура в окне международного вагона, — вы у меня со службы полетите!

— Вы дурак из международного вагона, — круто отрезала фигура.

— Протокол! — кричали в жестком вагоне.

— Ах, протокол? Л-ладно. Ну так будет же вам шиш вместо жезла, посмотрю, как вы уедете отсюда жаловаться. Пойдем, Вася! — прибавила фигура, обращаясь к подошедшему и совершенно пьяному весовщику в черной блузе, — пойдем, Васятка! Плюнь на них! Обижают нас московские столичные гости! Ну, так пусть они здесь посидят, простынут.

Фигура плюнула на платформу и растерла ногой, после чего платформа опустела.

В вагонах стоял вой.

— Эй, эй! — кричал обер и свистел, — кто тут есть трезвый на станции, покажись!

Маленькая босая фигурка вылезла откуда-то из-под колес и сказала:

— Я, дяденька, трезвый.

— Ты кто будешь?

— Я, дяденька, черешнями торгую на станции.

— Вот что, малый, ...ты, кажется, смышленный мальчуган, мы тебе двугривенный дадим. Сбегани-ка вперед, посмотри, свободные там пути? Нам бы только выбраться.

— Да там, дяденька, как раз на вашем пути паровоз стоит совершенно пьяный.

— То есть как?

Фигурка хихикнула и сказала.

— Да они, когда выпили, шутки ради в него вместо воды водки налили. Он стоит и свистит...

Обер и пассажиры окаменели и так остались на платформе. И неизвестно, удалось ли им уехать с этой станции.

МИХАИЛ

«Гудок», 12 июня 1926 г.



ГРОМКИЙ РАЙ

20-го апреля ночью женщина-работница М., уборщица вагонов депо Москва-Ряз. Ур., по обязанностям службы находилась в служебном вагоне № 1922.

Вдруг видит — тащится в вагон пьяная компания. Сам ТРВ Каратаев, с ним два хахаля и какая-то гражданка.

Тотчас Каратаев направляется к уборщице М. и делает ей предложение:

— Так и так, не согласитесь ли объединиться со мной в одном купе?

Словом, предлагает устроить тихий рай. Ну, конечно, получил отказ и вернулся к своей компании.

Только у них там получился совсем не тихий рай, а напротив того — очень громкий.

Поздно ночью слышно было, как неизвестная гражданка снаружи кричала так, что стекла в вагоне звенели.

— Похабники, знакомой даже пяти рублей не заплатили за весь вечер! А еще с кокардами!.. По-видимому, интеллигенты!

И другое, что полагается в таких случаях.

А наутро ТРВ уборщицу М. погнал к вчерашнему хахалю с запиской за этими самыми пятью рублями.

Теперь дальше. Конечно, М. подала заявление в ячейку РКП, а Каратаев с тех пор начал к ней придирааться.

Случай совершенно явной придирки произошел 9 июня.

Придя на работу, М. забыла повесить марку на место, но и начальство, и все товарки видели, что она с утра на работе. И вдруг объявляют ей, что полдня не будет записано.

Тут все женщины подняли шум, что это — явная месть

со стороны Каратаева, и тогда только начальство-отступило.

М. боится, что ее скоро за какой-нибудь пустяк выкинут с позором со службы, и хочет, чтобы ее заявлению был дан ход.

М.

«Гудок», 30 июня 1926 г.



РАЗВРАТНИК

(Разговорчик)

Стрелочник кашлянул и вошел к начальству в комнату. Начальство помещалось за письменным столом.

— Здравствуйте, Адольф Ферапонтович, — сказал стрелочник вежливо.

— Чего тебе? — спросило начальство не менее вежливо.

— Я... видите ли, в фактическом браке состою, — вымолвил стрелочник и почему-то стыдливо улыбнулся.

Начальство брезгливо поглядело на стрелочника.

— Ты всегда производил на меня впечатление развратника, — заметило оно, — у тебя и рот чувственный.

Стрелочник окостенел. Помолчали.

— Я тебя не задерживаю, — продолжало начальство, — ты чего стоишь возле стола? Ежели ты пришел делиться грязными тайнами своей жизни, то они мне не интересны!

— Я? Извольте видеть... Я за билетиком пришел...

— За каким билетиком?

— Жене моей бесплатный билетик.

— Жене? Ты разве женат?

— Я ж докладываю... в фактическом браке.

— Хи-хи... Ты весельчак, как я на тебя погляжу. В каком же ты храме венчался?

— Да я в храме не венчался...

— Где регистрировались, уважаемый железнодорожник? — подчеркнуто сухо осведомилось начальство.

— Да я ж... Я не регистри... Я ж докладую: в факти...

— Ну, видишь ли, друг, у тебя тогда не жена, а содержанка.

— То есть как...

— Очень просто. Подцепил, плутишка, какую-нибудь балерину, а теперь носится во все стороны. Дай ей, мол, бес-

платный билет! Ловкач! Сегодня она бесплатный билет, а завтра она может автомобиль потребовать или моторную лодку. Или международный вагон! Она тебе в свинушке ездить не станет все равно. Потом шляпку! А за шляпкой — чулки фильдеперсовые. Пропадаешь ты, стрелочник, как собака под забором. Целковых триста она тебе в месяц обойдется. Да это еще на хороший конец, при режиме экономии, а то и все четыреста!

— Помилуйте! — воскликнул стрелочник с легким подвыванием в голосе. — Я сорок целковых получаю!

— Тем хуже. В долги влезешь, векселя начнешь писать. Ахнет она тебе счет от портнихи за платье целковых на сто восемьдесят. У тебя глаза пупом вылезут. Повертишься, повертишься и подмахнешь векселек. Срок придет, платить нечем, ты, конечно, в казино. Проиграешь сперва свои денежки, затем казенных тысяч пять, затем ключ французский гаечный, затем рожок, затем флаги зеленый и красный, затем фонарь, а в заключение — штаны. И сядешь ты на рельсы со своей плясуньей в чем мать родила. Ну, а потом, конечно, как полагается, тебя будут с треском судить. И закатают тебя, принимая во внимание, со строгой изоляцией. Так что годиков в пять не уберешь. Нет, стрелочник, брось. Она что, француженка, кокотка-то твоя?

— Какая же она француженка?! — закричал стрелочник, у которого все перевернулось вверх дном в голове. — Что вы смеетесь? Марья она. Шляпку?.. Что вы такое говорите — шляпку! Она не знает, на какое место эту шляпку надевать. Она ши мне готовит!

— Ши и я тебе могу приготовить, но это не значит, что я тебе жена.

— Помилуйте, да ведь она в одной комнате со мной живет.

— Я с тобой тоже в одной комнате могу жить, но это не доказательство.

— Помилуйте, вы мужчина...

— Это мне и без тебя известно, — сказала начальство.

У стрелочника позеленело в глазах. Он полез в карман и вынул газету.

— Вот извольте видеть «Гудок», — сказал он.

— Какой гудок? — спросило начальство.

— Газетка.

— Мне, друг, некогда сейчас газетки читать. Я их вечером обычно читаю, — сказала начальство, — ты говори короче, чего тебе надо, юный красавец?

— Вот написано в «Гудке»... разъяснение, что фактически, мол, женам, которые проживают вместе с мужем и на его иждивении, выдаются бесплатные билеты... которые... наравне.

— Дружок, — мягко перебило начальство, — ты находишься в заблуждении. Ты, может быть, думаешь, что «Гудок» для меня закон. Голубчик, «Гудок» — не закон, это — газета для чтения, больше ничего. А в законе ничего насчет балерин не говорится.

— Так, стало быть, мне не будет билета? — спросил стрелочник.

— Не будет, голубчик, — ответило начальство.

Помолчали.

— До свидания, — сказал стрелочник.

— Прощай и раскайся в своем поведении! — крикнуло ему начальство вслед.

*

А «Гудок»-то все-таки закон, и стрелочник билет все-таки получит.

«Гудок», 14 июля 1926 г.



КОЛЕСО СУДЬБЫ

Два друга жили на станции. И до того дружили, что вошли в пословицу.

Про них говорили:

— Посмотрите, как живут Мервухин с Птоломеевым! Прямо как Полкан с Барбосом. Слезы льются, когда глядишь на их мозолистые лица.

Оба были помощниками начальника станции. И вот в один прекрасный день является Мервухин и объявляет Барбосу... то бишь Птоломееву, весть:

— Дорогой друг, поздравь! Меня прикрепили!

Когда друзья отрыдались, выяснились подробности. Мервухина выбрали председателем месткома, а Птоломеева — секретарем.

— Оценили Мервухина! — рыдал Мервухин счастливыми слезами. — И 12 целковых положили жалованья.

— А мне? — спросил новоиспеченный секретарь Птоломеев, переставая рыдать.

— А тебе, Жан, ничего, — пояснил предместкома, — па зэн копек¹, как говорят французы, тебе только почет.

— Довольно странно, — отозвался новоиспеченный секретарь, и тень легла на его профсоюзное лицо.

Друзья завертели месткомовскую машинку.

И вот однажды секретарь заявил председателю:

— Вот что, Ерофей. Ты, позволь тебе сказать по-дружески, — ты хоть и предместкома, а свинья.

— То есть?

— Очень просто. Я ведь тоже работаю.

¹ Ни одной копейки (от *фр.* раз un копек).

— Ну и что?

— А то, что ты должен уделить мне некоторую часть из 12 целковых.

— Ты находишь? — сухоато спросил Мервухин предместкома. — Ну, ладно, я тебе буду давать 4 рубля или, еще лучше, 3.

— А почему не 5?

— Ну, ты спроси, почему не десять?!

— Ну, черт с тобой, жада-помада. Согласен.

Настал момент получения. Мервухин упрятал в бумажник 12 целковых и спросил Птоломеева:

— Ты чего стоишь возле меня?

— Три рубля, Ероша, хочу получить.

— Какие три? Ах, да, да, да... Видишь ли, друг, я тебе их как-нибудь потом дам — 15 числа или же в пятницу... А то, видишь ли, мне сейчас... самому нужно...

— Вот как? — сказал, ошеломленно улыбаясь, Птоломеев. — Так-то вы держите ваше слово, сэр?

— Я попрошу вас не учить меня.

— Бога ты боишься?

— Нет, не боюсь, его нету, — ответил Мервухин.

— Ну, это свинство с твоей стороны!

— Попрошу не оскорблять!

— Я не оскорбляю, а просто говорю, что так поступают только сволочи.

— Вот тебе святой крест, — сказал Мервухин, — я общему собранию пожалуюсь, что ты меня при исполнении служебных обязанностей...

— Какие же это служебные обязанности? Зажал у товарища три целковых...

— Попрошу оставить меня в покое, господин Птоломеев.

— Господа все в Париже, господин Мервухин.

— Ну, и ты туда поезжай!

— А ты, знаешь, куда поезжай?!

— Вот только скажи. Я на тебя протокол составляю, что ты в присутственном месте выражаешься...

— Ну, ладно же, — сказал багровый Птоломеев. — Я тебе это попомню!

— Попомни.

Был солнечный день, когда повернулось колесо судьбы. Вошел Птоломеев, и фуражка его горела, как пламя.

— Здравствуйте, дорогой товарищ Мервухин, — сказал зловещим голосом Птоломеев.

— Здравствуйте, — иронически сказал Мервухин.

— Привстать нужно, гражданин Мервухин, при входе начальника, — сказал Птоломеев.

— Хи-хи. Угорел? Какой ты мне начальник?

— А вот какой: приказом от сего числа назначен временно исполняющим обязанности начальника станции.

— Поздравляю... — растерянно сказал Мервухин и добавил: — Да, кстати, Жанчик, я тебе три рубля хотел отдать, да вот все забываю.

— Нет, мерси, зачем вам беспокоиться, — отозвался Птоломеев. — Кстати, о трех рублях. Потрудитесь сдать ваше дежурство и очистить станцию от своего присутствия. Я снимаю вас с должности.

— Ты шутишь?

— По инструкции шутить не полагается при исполнении служебных обязанностей. Плохо знаете службу, товарищ Мервухин. Попрошу вас встать!!

— Крест-то на тебе есть?

— Нет. Я в Союзе безбожников, — ответил Птоломеев.

— Ну, знаешь, видал я подлецов, но таких...

— Это вы мне?

— Тебе.

— Начальнику станции? Го-го! Ты видишь, я в красной фуражке?

— В данном случае ты — гнида в красной фуражке.

— А если-я вам за такие слова дам по морде?

— Сдачи получите! — сказал хрипло Мервухин.

— С какой дачи?

— А вот с какой!..

И тут Мервухин, не выдержав наглого взора Птолommeева, ударил его станционным фонарем по затылку.

Станным зрелищем любовались обитатели станции через две минуты. Прикрепленный председатель месткома сидел верхом на временно исполняющем должность началь-

ника станции и ключья разорванной его красной фуражки засовывал ему в рот со словами:

— Подавись тремя рублями! Гад!

•

— Помиримся, Жанчик, — сказал Мервухин на следующий день, глядя заплывшим глазом, — вышибли меня из месткома.

— Помиримся, Ерофей, — отозвался Птоломеев, — и меня выставили из начальников.

И друзья обнялись.

С тех пор на станции опять настали ясные времена.

МИХАИЛ

«Гудок», 3 августа 1926 г.



СТАЛЬНОЕ ГОРЛО

Рассказ юного врача

Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завывало. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном небе, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе — он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул: отлично помню эту ночь — 29 ноября я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая

брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

— Слабая девочка, умирает... Пожалуйте, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как з а ч а р о в а н н ы й: смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Андрей Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытные акушерки — Мария Николаевна и Прасковья Михайловна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стоял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распустила сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С кем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей — волосы сами от природы вьются в крупные кольца, цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх — ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в л е г о н ь к и й лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил в чем дело и первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками, они-то были опытные: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.

— Пятый день, пятый, — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

— Дифтерийный круп, — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: — Ты о чем думала? О чем думала? И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

— Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

— Ты, бабка, замолчи, мешаешь. — Матери же повторил: — О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

— Дай ей капель, — сказала она и стукнулась лбом в пол, — удавлюсь я, если она помрет.

— Встань сию же минуточку, — ответил я, — а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

— Так они все делают. На-род. — Усы у него при этом скривились набок.

— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

— Помрет, — негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

— Дай ей, помоги. Капель дай.

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд:

— Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девочку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

— Тебе лучше знать, батюшка, — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

— Замолчи, — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, ко-

торая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то kloкочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

— Вот что, — сказал я, удивляясь собственному спокойствию, — дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного — операции. — И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.

— Как это? — спросила мать.

— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, — объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

— Что ты, не давай резать! Что ты? Горло-то?!

— Уйди, бабка, — с ненавистью сказал я ей. — Камфару впрысните, — приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

— Может, это ей поможет? — спросила мать.

— Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

— Перестань, — промолвил я. Вынул часы и добавил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь после пяти минут, сам уже не возьмусь делать.

— Не согласна! — резко сказала мать.

— Нет нашего согласия! — добавила бабка.

— Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал: «Ну вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

— Нет! Нет!

— Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

— Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

— Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летела и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», — подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:

— Батюшка, как же так горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил: — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабу и вытолкнула ее из палаты.

— Готово! — вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я как сквозь завесу увидел блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку... В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городе. Приедет, узнает, что я наделала, — убьет меня!»

— Убьет, — повторила бабка, глядя на меня в ужасе.

— В операционную их не пускать! — приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка — девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож; при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, и мгновенно залила всю рану, и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли; она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец... — подумал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать» — так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

— Крючки! — сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки

горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума; он вдруг стал выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба, — подумал я, — теперь уж несомненно зарезали мы Лидку, — и мысленно строго добавил: — Только дойду домой и застрелюсь»... Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

— Продолжайте, доктор...

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушеров, и одна из них мне сказала:

— Ну, и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья, глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила меня:

— Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочку, девочку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся — узнал.

— А, Лидка! Ну, что?

— Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

— Все в порядке, — сказал я, — можете больше не приезжать.

— Благодарю вас, доктор, спасибо, — сказала мать, а Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 час. утра и кончили в 8 час. вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

— Так и живет со стальным? — осведомился я.

— Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

— Н-да... я, знаете ли, никогда не волнуюсь, — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.

*Журнал «Красная панорама»
15 августа 1925 г.*



КРЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОМ

Записки юного врача

Побежали дни в N-й больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой — 17 лет из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорил «таковой» вместо «такой» из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

— Кто там?

— Это я, — ответил мне почтительный шепот, — я. Аксинья, сиделка.

— В чем дело?

— Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

— А что случилось? — спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

— Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагоприятные.

«Вот оно. Началось», — мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни лярингиты да катары желудка.

— Хорошо. Иди скажи, что я сейчас приду! — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого... Что там такое у этой женщины с неблагоприятными родами? Гм... неправильное положение... узкий таз... Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь: перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться...

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлюпающим досточкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

— Вы, что ли, привезли роженицу? — для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

— Мы... как же, мы, батюшка, — жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встреपнулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

— Ну-с, что такое? — спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

— Поперечное положение, — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

— Та-ак, — протянул я, нахмурясь, — что ж, посмотрим...

— Руки доктору мыть! Аксинья! — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

— Тихонько... тихонько... потерпи, — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, ко-

нечно, был верный. Поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искося поглядывал на лица акушеров. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

— Так, — вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, — исследуем внутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны!

— Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать», — тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Яркие горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканы, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я — один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальные. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

Поперечное положение... Раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать...

— Поворот на ножку, — не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый опытный врач покосился бы на нее за то, что она

суется вперед со своими заключениями... Я же человек не обидчивый...

— Да, — многозначительно подтвердил я, — поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой... поворот комбинированный... поворот непрямой...

Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представлял себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

...Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение.

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

— Что ж... будем делать, — сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

— Демьян Лукич, — обратилась она к фельдшеру, — приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом, — как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...

И я, обмыв руки, сказал:

— Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

— Хорошо, доктор, успеется, — ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он — Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торпливо стал шелестеть глянцевыми страничками.

...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...

Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника.

...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки.

Само-про-из-воль-но-го...

...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?

Дальше...

...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода...

Примем к сведению.

...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова? А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

...ввиду огромной опасности разрыва...

...внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям...

И в виде заключительного аккорда:

...С каждым часом промедления возрастает опасность...

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, не прямой!..

Я бросил Додерляйна и опустил в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже 12 минут дома. А там ждут...

...с каждым часом промедления...

Часы состояются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготавливая на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

— Терпи, терпи, — ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, — доктор сейчас тебе поможет.

— О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!..

— Небось... небось... — бормотала акушерка, — вытерпишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник — опытный хирург — делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво ннзвесть одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, не труслив.

— Давайте, — приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы нодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темной желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушеров стали строгими, как будто вдохновенными ...

— Га-а! А!! — вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску,

— Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:

— Га-а... пусти! а!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.

— Пелагея Ивановна, пульс?

— Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плоть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

— Спит.

.....
.....
Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из

стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

— Жив... жив... — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

— Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленатый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, шурится от дыма, кашляет.

— А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радостью. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

— Посмотрим еще, что будет дальше, — говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

— Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции... Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны. Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе — сейчас же или, быть может, позже?.. Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

— Ну, мало ли что, — говорю я, — не исключена возможность заражения, — повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

— Ах, э-это, — спокойно тянет Анна Николаевна, — ну, даст Бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

* * *

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете, в пятне света от лампы, мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно наполнились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне, — думал я, засыпая, — но только нужно читать, читать, побольше... читать...»

Журнал «Медицинский работник».
25 октября и 2 ноября 1925 г.



ВЬЮГА

Записки юного врача

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксины, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьево, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм.

Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полосы на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать женой.

Я же — врач N-й больницы, участка такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стало ездить 100 человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика — жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по 5 минут... пять! 500 минут — 8 часов 20 минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на 30 человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в 9 часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять. Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался липкий и прохладный, не смотря на жаркую печку-голландку. На обходе я шел стре-

мительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерницу и двух сиделок. Остановливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивая по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль — как его спасти? И этого — спасти. И этого! Всех!

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-молнии.

— Чем это кончится, мне интересно было бы знать, — говорил я сам себе ночью. — Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте.

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за 40 верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтеритную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в 9 часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра — в среду. Мне приснилось, что приехало 900 человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил — стук.

— Доктор, — узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, — вы проснулись?

— Угу, — ответил я диким голосом спросонья.

— Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехало.

— Вы — что. Шутите?

— Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга, — повторила она радостно в замочную скважину. — А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

— Да ну... — я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в 6 комнат, и почему-то двухэтажная: 3 комнаты вверху, а кухня и три внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксиные — исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире — приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиной было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в Н-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице, и те испорченные).

Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

— Эт-то я понимаю... — сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, — это я понимаю. А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я всплуюсь, то пусть завтра хоть полтора человека приезжает. Какие новости, Аксины?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

— Конторщик в Шалометьевом имении женился, — отвечала Аксины.

— Да ну! Согласилась?

— Ей-богу! Влюбле-ен... — пела Аксины, погромыхая посудой.

— Невеста-то красивая?

— Первая красавица! Блондинка, тоненькая.

— Скажи пожалуйста!..

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал спрашивать...

— Доктор-то купается... — выпевала Аксины.

— Бур... бур... — бурчал бас.

— Записка вам, доктор, — пискнула Акси́нья в скважину.

— Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Акси́ньи сыроватый конвертик.

— Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, — не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».

«Мне в жизни не везет», — тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

— Мужчина записку привез?

— Мужчина.

— Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

— Почему вы в каске? — спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней.

— Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда... — ответил римлянин.

— Это какой доктор пишет?

— В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...

— Какая женщина?

— Невеста конторщикова.

Акси́нья за дверью охнула.

— Что случилось? (Слышно было, как тело Акси́ньи прилипло к двери.)

— Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик поката́ть ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом о косяк. Так она и вылетела. Такое несчаст-

тье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел...

— Купаюсь я, — жалобно сказал я, — ее сюда-то чего же не привезли? — И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

— Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, — почувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, — никакой возможности. Помрет девушка.

— Как же мы поедем-то? Вьюга!

— Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я коротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного...»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

— Пожарные лошади? — спросил я сквозь бараний воротник.

— Угу... гу... — пробурчал возница, не оборачиваясь.

— А доктор что ей делал?..

— А он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился, угу... гу...

Гу... гу... загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпанула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел — пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

— Лошадей мне сейчас же обратно дайте, — сказал я.

— Слушаю, — ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашенный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголки, новый, как бы с металлических складками. Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

— Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца. — Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: — Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывает на пальцы.

— Перестаньте, — сказал я ему и стиснул руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растерянны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года.

Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

— Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали...

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за запертой двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розовой от крови ватой.

— Пульс... — шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

— Умерла, — я на ухо сказал врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

— Тише, тише, — сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

— Он меня замучил, — очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

— Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не сможем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатали рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать,

а я задержался возле конторщика. Морфий помог лучше, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не слышал...

— Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, — говорил мне врач шепотом в передней. — Оставайтесь, переночуйте...

— Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

— Да они-то доставят, только смотрите...

— У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

— Ну, смотрите...

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съжилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо. Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

— Дорогу-то вы знаете? — спросил я, кутая рот.

— Дорогу-то знаем, — очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было), — а остаться бы вам переночевать...

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

— Надо остаться, — прибавил и второй, держащий разъяренный факел, — в поле нехорошо-с.

— 12 верст... — угрюмо забурчал я, — доедем. У меня тяжелые больные... — и полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

— Однако это здорово... — не то подумал, не то забор-

мотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль — а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дне саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа... Да, да, да... Ага-га... именно так». Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя такая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге. Я один, а больных-то тысячи... Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь... Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

— Приехали? — спросил я, мутно тараща глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны... и заговорил без всякой почтительности:

— Приехали... Людей-то нужно было послушать... Ведь что же это такое! И себя погубим, и лошадей...

— Неужели дорогу потеряли? — У меня похолодела спина.

— Какая тут дорога, — отозвался возница расстроенным голосом, — нам теперь весь белый свет — дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается...

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем! Это было ни к чему: ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет, и мгновенно огонь слизнет.

— Говорю, часа четыре, — похоронно молвил пожарный, — что теперь делать?

— Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него ответить. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

— Сами стали?

— Сами. Замучились животные...

Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне, — думал я, — его небось не возили к умирающим...»

Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

— Это малодушие... — пробормотал я сквозь зубы. И бурная энергия возникла во мне.

— Вот что, дядя, — заговорил я, чувствуя, что у меня стынут зубы, — унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

— Но-о, — застонал возница.

— Но! Но! — закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался впереди.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

— Мелко, дорога! — закричал я.

— Го... го... — отозвался возница, он приковылял ко мне и сразу вырós.

— Кажись, дорога, — радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный. — Лишь бы опять не сбиться... Авось...

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в сани, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и вспомнился конторщик, и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я углядел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?..

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали. И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома и вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном. Кошка выросла в собаку и покати-лась недалеко от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой, и пальцы на ногах перестали стыть.

— Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, — выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слушал дикий визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело... Видел уже мысленно свои рваные кишки...

В это время возница завыл:

— Ого... го... вон он... вон... Господи, выноси, выноси...

Я наконец справился с тяжелою овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь... — мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» — промыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где прости волки.

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я — наверно этой лестницы, Аксинья в тулупе — внизу.

— Озолотите меня, — заговорил возница, — чтоб я в другой раз... — Он недоговорил, залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: — Во величиной...

— Померла? Не отстояли? — спросила Аксинья у меня.

— Померла, — ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

— Озолотите меня, — задремывая, пробурчал я, — но больше я не по...

— Поедешь... ан поедешь... — насмешливо высвистала выюга.

Она с громом проехала по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

— Поедете... пое-де-те... — стучали часы. Но глуше, глуше.

И ничего. Тишина. Сон.

*Журнал «Медицинский работник»
18 и 25 января 1926 г.*



ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ¹

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем «скорый» в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в 40 верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воем и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...

Мы же одни.

— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.

— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по 2 рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

— За ваше здоровье, доктор! — прочувствованно сказал Демьян Лукич.

¹ Из готовящейся к изданию книги «Записки юного врача».

— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

— Я решительно не постигаю, — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерки.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет 30. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли... Пожалуйте еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича:

Tinct. Belladonn...» и т. д. «16 декабря 1917 года...»

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и просьбой повторить.

— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом.

— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка сдобным голосом, — дай вам Бог здоровья за эти капли... полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

— Я тебе по сколько капель говорил? — задущенным голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель... Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж...

— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный.

Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

— Этого не может быть!.. — заговорил я и завопил:

— Демьян Лукич!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

— Полбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

— Ей-бо... — начала баба.

— Бабочка, ты нам очков не втирай, — сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич, — мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

— Вот чтоб мне...

— Брось, брось... — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне: — Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она приедет в деревню и всех баб угостит.

— Что вы, гражданин фершал...

— Брось! — отрезал фельдшер. — Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, — продолжал он мне.

— Еще этих капелек дайте, — умильно попросила баба.

— Ну, нет, бабочка, — ответил я и вытер пот со лба, — этими капельками больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

— Это что, — говорил Демьян Лукич, деликатно проже-

вывая рыбку в масле, — это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

— Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

— Замечательный доктор был! — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камешками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

— Да, личность выдающаяся, — подтвердил фельдшер. — Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдович Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает как-то к нему приятель его Федор Косой из Дульцева на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьевич, заложило мне грудь, ну не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

— Лярингит, — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

— Совершенно верно. «Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средство. Будешь ты здоров через 2 дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой — на грудь. Подержишь десять минут, съешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через 2 дня появляется на приеме. «В чем дело?» — спрашивает Липонтий. А Косой ему:

«Да что ж, — говорит, — Липонтий Липонтьевич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! — отвечает Липонтий, — не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...»

И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе наклеплен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

— Воля ваша, это — анекдот, — сказал я, — не может быть!

— Анек-дот?! Анекдот? — впереводку воскликнули акушерки.

— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер. — У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

— А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна. — Расскажите про сахар, Пелагея Иванна!

Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

— Приезжаю я в то же Дульцово к роженице...

— Это Дульцово знаменитое место, — не удержался фельдшер и добавил: — Виноват! Продолжайте, коллега!

— Ну, понятное дело, исследую, — продолжила коллега Пелагея Иванна, — чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то кусочки... Оказывается — сахар-рафинад!

— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян Лукич.

— Позвольте... ничего не понимаю...

— Бабка! — отозвалась Пелагея Ивановна. — Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

— Ужас! — сказал я.

— Волосы дают жевать роженицам, — сказала Анна Николаевна.

— Зачем?!

— Шут их знает. Раз в три привозили нам рожениц. Лежит и плюется, бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...

Глаза у акушеров засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает, не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в

руки бабки. О том, как однажды рожицу при неправильном положении, чтобы младенец повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.

«Ну, нет! — раздумывал я. — Я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул...

— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху — кабинет и спальня, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещались эта Аксинья-кухарка и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:

— Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышинной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.

— Ходит он?

— Ходит, — зевая, ответила Аксинья.

— Ну пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.

— Извините, гражданин доктор, — приятным мягким басом отозвалась фигура, — метель — чистое горе! Ну, держались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!..

«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, трудно угадать постное масло.

— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.

— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

— Так точно. Мельник.

— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

— Каждый день, как 12 часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит...

«Готов диагноз!..!» — победно звякнуло у меня в голове.

— А остальные часы ничего?

— Ноги слабые...

— Ага... расстегнитесь!.. Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался

грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, — к медицине.

— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую лечиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник. — Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur. — 0,5

D.T. dos № 10

S. Мельнику Худову.

По 1 порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна!

Примите во 2-ю палату мельника. У него *maladie*. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку:

«Дорогой доктор!

Все исполнила. Пел. Лобова».

И заснул...

...И проснулся.

— Что ты? Что? Что, Аксинья?! — забормотал я.

Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.

— Марья сейчас прибежала. Пелагея Иванна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

— Что такое?

— Мельник, говорит, во 2-й палате помирает.

— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно 6.

«Что такое?.. что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках и незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во 2-ю палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керасиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

— Доктор! — воскликнула она, — я не виновата. Кто же мог ожидать. Вы сами же чиркнули — интеллигентный...

— В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

*

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буровой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

— Ну как? — спросил я.

— Тьма египетская в глазах... О... ох, — слабым басом отозвался мельник.

— У меня тоже! — раздраженно ответил я.
— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо).
— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! — в ухо погромче крикнул я.
И мрачный и неприязненный бас отозвался:
— Да думаю, что валандаться с вами по одному порошочку. Сразу принял — и делу конец.
— Это чудовищно! — воскликнул я.
— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытьи отозвался фельдшер...

*

«Ну нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед...
Сон — хорошая штука!..

*Журнал «Медицинский работник».
20 и 27 июля 1926 г.*



ЗВЕЗДНАЯ СЫПЬ

Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:

— Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!

Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», — подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнего, в свалывшейся бороде грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скупающе и поправлял пояс на штанах.

«Это он — сифилис», — вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я — врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться и вот тогда увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул

мне на руки», — отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть!

Решил положить на окно, на комок ваты.

— Вот что, — сказал я, — видите ли... Гм... По-видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, нехорошая болезнь — сифилис...

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается...

Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие.

— Сифилис у вас, — повторил я мягко.

— Это что же? — спросил человек с мраморной сыпью.

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими головами и седая борода профессора-венеролога... Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в сорока верстах от железной дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось, и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне.

— Застегивайтесь, — заговорил я, — у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться!..

Тут я запнулся, потому что — клянусь!.. — прочел в этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешанное явно с иронией.

— Глотка вот захрипла, — молвил пациент.

— Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...

Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.

— Мне бы вот глотку полечить, — вымолвил он.

«Что это он все свое? — уже с некоторым нетерпением подумал я. — Я про сифилис, а он про глотку!»

— Слушайте, дядя, — продолжал я вслух, — глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться — два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»

— Что ж так долго? — спросил пациент. — Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки...

Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет! Напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце...

— Вы женаты? — спросил я.

— Женат, — изумленно отозвался пациент.

— Жену немедленно пришлите ко мне! — взволнованно и страстно говорил я. — Ведь она тоже, наверное, больна?

— Жану?! — спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченного сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или если она заражена, а заражена она наверное, то как ее лечить?

Наконец, поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной! Я украдкой, в то время

как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь — великое средство.

— Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакету в день... вот так...

И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат...

— ...Сегодня — в руку, завтра — в ногу, потом опять в руку — другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...

— И глотку? — спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился.

— Да, да, и глотку.

Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услышал бегло хриплый шепот:

— Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложил, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока выедешь — вот те и ночь. О, Господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.

— Без внимания, без внимания, — подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съжился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

... Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его

самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться, и вновь обретать присутствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопанном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин. Находит и пишет в книге: «Lues III», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вощеной бумаге, шесть неиспользованных липких комков.

— Как же, как же, давал... — скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему иодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник...

Привет вам, мой товарищ...

«... еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору, покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у Вас не открылся. Примите лечение.

Супрут ваш Ан. Буков».

Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.

— Подлец он! А?! — выкрикнула она.

— Подлец, — твердо ответил я.

Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались...

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, еще не затупевшей к чужой боли, еще не затупевшей к чужой боли, еще не затупевшей к чужой боли...

я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно неизвестно и до исследования предаваться отчаянью нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную боль — сифилис.

— Подлец, подлец, — всхлипнула молодая женщина и давила слезами.

— Подлец, — вторил я.

Так довольно долго мы называли бранными словами «Дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна и тяжело набрякли веки под черными отчаянными глазами.

— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, — говорила она сухим измученным голосом.

— Погодите, погодите, — бормотал я, — видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.

— Ах, прохвост, ах, прохвост, — сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были как две черные ямки, она всматривалась в окно — в сумерки.

Это был один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде, и ничего подозрительного я не нашел.

— Знаете что, — сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, — знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

— Нет? — сипло спросила женщина. — Нет? — Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. — А вдруг сделается? А?..

— Я сам не пойму, — вполголоса сказал я Пелагее Ивановне, — судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.

— Ничего нет, — как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили троим в палату. Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90% за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случаи, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, последний раз ощупав железы, я сказал женщине:

— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это — счастливый случай.

— Ничего не будет? — спросила она незабываемым голосом.

— Ничего.

Не хватит у меня умения описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после страшно-го боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавленными от пальцев, с проступившей на нем росой.

К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспоминал ее, обреченную на четырехмесячный страх? Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот — со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновы-

ми лампами работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинные. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие пять лет. Передо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «laringit»... еще и еще... Но вот он! «Lues III», Ага... И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:

Rp. Ung. Hidrarg. ciner. 3,0 D.t.d...

Вот она — «черная» мазь.

Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и вдруг прерываются... вновь «Lues»...

Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе. Реже попадался третичный. И тогда иодистый калий размашисто занимал графу «лечение».

Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью амбулаторные, забытые на чердаке фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса — бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...

— Это значит... — говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа, — это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется... Так, так, и больше ничего? Нет, не больше. ничего! А разовьется вторичный и бурный при этом — сифилис. Когда глотка болит и на теле появляются мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь... Ага!

Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков.

— Я найду этого Семена Хотова. Гм...

Шуршали чуть тронутые желтым тлением амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно во спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь:

— Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?

Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. Посмотрим: деньков через 10—12 должен Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет через 10 дней, нет через 20... Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гуммоznыми язвами у себя на приеме. Цел ли его носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?.. Бедный Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каломель с молочным сахаром в маленькой дозе?! Вот почему: «Ивану Карпову 2 года! а у него «Lues II». Роковая двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно.

— Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с ложечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома! Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла:

«Авдотья Карпова, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это мать Ивана. На руках-то у нее он и плакал.

А ниже Ивана Карпова:

«Авдотья Карпова, 8 лет».

А это кто? Сестра! Каломель...

Семья налицо, Семья. И не хватает в ней только одного

человека — Карпова лет 35 — 40... И неизвестно, как его зовут — Сидор, Петр. О, это не важно!

«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»

Вот он — документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и «не открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей — Марья, за Марьей — Иван. Общая чашка со щами, полотенце...

Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues II». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке! Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловатый рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:

— Я буду с «ним» бороться.

Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То появлялся в виде беловатых язв в горле у девочки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но кроме того, он проскальзывал и незамеченным мною. Ах, ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях, и в мозгу.

Я узнал многое.

— Перетирку велели мне тогда делать.

— Черной мазью?

— Черной мазью, батюшка, черной...

— Накрест? Сегодня — руку, завтра — ногу?

— Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво.)

«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она — гумма!...»

- Дурной болью болел?
- Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.
- Угу... Глотка болела?
- Глотка-то? Болела глотка. В прошлом году.
- Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?
- Как же! Черная, как сапог.
- Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..

Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал иодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!

Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе.

В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввалились за нею.

— Сыпь кинулась на ребят, — сказала краснощекая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.

— Раскрой, миленькая, ребенка.

Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидели пятнами розеола и мокнувшие папулы. Ванька

вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...

— Простуда, что ли? — сказала мать, глядя безмятежными глазами.

— Э-х-эх, простуда, — ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо кривя рот. — Весь Коробовский уезд у них так простужен.

— А с чего ж это? — спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.

— Одевайся, — сказал я.

Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 98). Потом заговорил:

— У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться и лечиться долго.

Как жалко, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено, на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:

— Скудова же это?

Потом криво усмехнулась.

— Скудова — неинтересно, — отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день, — другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.

— А что? Ничаво не будет, — ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:

— Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во второй палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

— Что вы, доктор, — отозвался он (великий скептик

был), — да как же мы управимся одни?! А препараты? Лишних сиделок нету... А готовить?.. А посуда, шприцы?!

Но я тупо упрямо помотал головой и отозвался:

— Добьюсь!

Прошел месяц... В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький однограммовый и пятиграммовый — люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но... Гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня, еще загадочные и трудные вливания сальварсана.

И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее — во флигельке лежали 7 мужчин и 5 женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала мать, поправляя кофточку.

— Нет, нельзя еще, — ответил я, — еще один курс придется претерпеть.

— Нет моего согласия, — ответила она, — делов дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:

— Ты... ты знаешь, — заговорил я и почувствовал, что багровею, — ты знаешь... ты дура!..

— Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки — ругаться?

— Разве тебя душой следует ругать? Не душой, а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить! Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней.

Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что брань по сравнению с звездной сыпью!

Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу...

Привет, мой товарищ!

*Журнал «Медицинский работник»,
12 и 19 августа 1926 г.*



ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ¹

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в 2 часа дня 16 сентября 1917 года были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить — существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культипки. Сознаться, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли

¹ Из книги «Записки юного врача».

хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич... «Парализис», — отчаянно, мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П... по вашим дорогам, — заговорил я деревянными синенькими губами, — нужно и... привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми ушишками, — пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небелёные бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

«...Привет тебе... при-ют свя-щенный...»

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр. Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками, — я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в плотую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его на меня. Я хотел удержать его прямо за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, Госпо... начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь сунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а

ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне, и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я уже успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью и вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел.

— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы... так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово».

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... Нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах пахло травами, на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слышал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье, Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сеник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете, в моей резиденции. Я сидел и как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею 15 пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили «освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней «освоюсь»? И в особенности, каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится ли он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтеритный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А! Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не придет, а грыжу притащит, будь спокоен, дорогой коллега доктор».

Голос был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательно грыжа. Что за неврастения. Взятся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку 3 раза в день...

«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузеум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя и никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписывать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут — к черту — ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном

послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу. А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь... Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», — тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы, — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова.

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная, — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты, Господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказанье?... Чем прогневали?

— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пушай. Пушай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить. Хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку... — переспросил я. — Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом пояснила Аксинья, — мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал?» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза...

*

Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе на белой, свежеспавнувшей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, — подумал я, — а сиделки, значит, его отпавают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица. Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

— Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Яглянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левого ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рана, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была

переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, — подумал я, — тут уж ничего не сделаешь»...

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор. Не мучайте. Зачем еще колоть. Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет, — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще, — хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. — отчаянно подумал я. — Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сооб-

разил, была железной, — что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За 10 верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла...

«Пусть умрет в палате, когда я кончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на грудь торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... Не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой...

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали поднимать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо. Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.

— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас поступчат... Скажут: «умерла»...

Да, пойду и погляжу в последний раз... Сейчас раздастся стук...

*

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там устроят протез, искусственную ногу...

— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец, обветшало, стерлось, продырявилось и наконец исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

*Журнал «Медицинский работник».
12 и 18 сентября 1926 г.*



ПРОПАВШИЙ ГЛАЗ¹

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...

И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда 23-летнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинута назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в 30 верстах от железнодорожного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз. Вот читал я как-то, где-то... где... забыл... об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он — отшельник — встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и

¹ «Записки юного врача».

кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова. Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка, — акушерка с торзионным пинцетом, и свертком марли, и банкой с иодом, я с дикими выпученными глазами, а сзади Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог, у него отскочила подметка. Ветер летел ему навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

— Какого ты черта пропиваешь все деньги, — бормотал я на лету Егорычу, — это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.

— Какие ж это деньги, — злобно огрызнулся Егорыч, — за двадцать целковых в месяц муку-мученскую принимать... Ах ты, проклятая! — он бил ногой в землю, как яростный рысак. — Деньги, тут не то что сапоги, а пить-есть не на что...

— Пить-то тебе самое главное, — сипел я, задыхаясь, — оттого и шляешься оборванцем...

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, Она в мучении заводи́ла глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

— Не дошла, не дошла, — торопливо говорила Пелагея Ивановна и сама, простоволосая, похожая на ведьму, размазывала сверток.

И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли.

Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись наконец от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:

— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

— Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять.

— Дурак твой свекр и свинья, — отозвался я.

— Ах, до чего темный народ, — жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку. Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обыкновенно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но, и тут уже зеркало не было виновато, на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор, — подумал я, — десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться...»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, шурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около 3 часов дня. А добрился я в 9 вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно трянуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

— Н-но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую по-

вязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затащили дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде — на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о веселых родах у моста.

Да... бриться два раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьинской больнице, не посылали даже в Вознесенск за 9 верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского следопыта. Но все же английские замашки не потухли вовсе на Мурьинском необитаемом острове, и время от времени я вынимал из черного футлярика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня. Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву, и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... Зачем?.. А так, чтобы не мучиться... Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом, помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, ништо тебе... У-гу-гу... Ха-сс-сс... свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парой коней. Мир их праху в снежном

море. Тьфу... Что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет...

Мы и не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал проводить второй поворот за ножку в своей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине. Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом:

— Ага. Взять у него диплом.

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую недвижно, в забытии от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разрядить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях, в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие невероятные трудности мне приходится переживать! Ко мне могут привезти какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остались трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос — удастся ли мне отстоять ее. Да и как мне о т с т о я т ь ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не повезло. Ах, сердце щемит от одиночества, от холода, от того, что никого

нет кругом. А может, я еще и преступление совершил — ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостойн я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения.

Я завалился на дно саней, съезжился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, но теперь я вижу, что он пролетел как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и спокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, кончивший университет».

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник — ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьинской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть... я помню прекрасную румяную, но истрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно побрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот несколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого-о.

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня ёкнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубу висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть...» — подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушеров нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табуретке, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою — в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцовокислого калия и велел:

— Полощи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою

солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она бы текла сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу — ренклод.

«Отделал я солдата на славу», — отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти иодом.

— Часа три не ешь ничего, — дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

— Покорнейше вас благодарю, — отозвался солдат с некоторым изумлением, глядя в чашку, полную его крови.

— Ты, дружок, — жалким голосом сказал я, — ты вот чего... ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне... Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть... у тебя рядом еще зуб подозрительный... Хорошо...

— Благодарим покорнейше, — ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови... Ах ты, черт возьми. Зачем я сунулся к нему со щипцами...»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него 40. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинают пересуды.

— С чего бы это?

— Дохтур зуб ему вытаскал...

— Вон оно што...

Дальше — больше. Следствие. Приезжает суровый человек.

— Вы рвали зуб солдату?..

— Да... я.

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я — причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бородежкой 25 лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковырял скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол... бывают ли такие случаи... если кто-нибудь рвет зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может получиться, не правда ли... Знаете, кусок... я читал...

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

— Это вы ему лунку выломали... Здорово будете зубы рвать. Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас, и навсегда ушел мой мучитель солдат из головы.

Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку. Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы. Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.

Да что зубы. Чего только я не перевидел и не сделал за этот неповторимый год.

Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я сделал две ампутации бедра, а пальцев — не считаю. А вычистки! Вот у меня записано 18 раз. А грыж! А трахеотомия! делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл! А повязки при переломах! Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить. Но щипцы, повороты — сколько хотите.

Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:

— Расскажите о ранах в упор.

Я развязно стал рассказывать, и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня безразлично и сказал скрипуче:

— Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?

— Пятнадцать, — ответил я.

Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон...

Вышел, потом вскоре поехал в Мурьино, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскипала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через полтора месяца он ушел у меня из больницы живой. В университете я не удостоился поддержать ни разу в руках акушерские щипцы, а здесь, правда, дрожа, наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:

— Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку.

Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.

Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тимы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы.

Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял 15 613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только 6.

Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр 24 лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт те-

перь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал... Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах... Сон все ближе...

«Я, — пробурчал я, засыпая, — я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик... может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм... пусть... им хорошо... в клиниках, в университетах... в рентгеновских кабинетах... я же здесь... все... и крестьяне не могут жить без меня... Как я раньше дрожал при стуке в двери... как корчился мысленно от страха... А теперь...»

*

— Когда же это случилось?

— С неделю, батюшка, с неделю, милый... Выперло...

И баба захныкала.

Смотрело серенькое октябрьское утро первого дня моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня стоял в халате и растерянно вглядывался.

Годовалого мальчишку она держала на руках как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых истонченных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся.

Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.

«Что это такое... Мозговая грыжа... Гм... он живет... Саркома... Гм... мягковата... Какая-то невиданная жуткая опухоль... Откуда же она развилась... Из бывшего глаза... А может быть, его никогда не было... Во всяком случае, сейчас нет...»

— Вот что, — вдохновенно сказал я, — нужно будет вырезать эту штуку...

И я тут же представил себе, как я надсеку веко, разведу их в стороны и...

«И что... Дальше-то что? Может, это действительно из мозга... Фу, черт... Мягковато... на мозг похоже...»

— Что резать, — спросила баба, бледнея, — на глазу резать? Нету моего согласия...

И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.

— Никакого глаза у него нету, — категорически ответил я, — ты гляди, где же ему быть. У твоего младенца странная опухоль...

— Капелек дайте, — говорила баба в ужасе.

— Да что ты, смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут.

— Что же ему, без глаза, что ли, оставаться?

— Нету у него глаза, говорю тебе.

— А третьего дни был, — отчаянно воскликнула баба.

«Черт»...

— Не знаю, может, и был... черт... только теперь нету... И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию... Демьян Лукич. А?

— М-да, — глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать, — штука невиданная.

— Резать в городе, — спросила баба в ужасе, — не дам.

Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.

Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями... Черт.

А через два месяца младенец был мною забыт.

Прошла неделя.

— Анна Жухова, — крикнул я.

Вошла веселая баба с ребенком на руках.

— В чем дело? — спросил я привычно.

— Бока закладывает, не продохнуть, — сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.

Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.

— Узнали? — спросила баба насмешливо.

— Постой... постой... да это что... Постой, это тот самый ребенок.

— Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать чтобы...

Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.

На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было в помине.

«Это что-то колдовское...» — расслабленно подумал я.

Потом несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидел... малюсенький шрамик на слизистой... А... а...

— Мы как выехали от вас тады... Он и лопнул...

— Не надо, баба, не рассказывай, — сконфуженно сказал я, — я уже понял...

— А вы говорите глаза нету... Ишь вырос... — И баба издевательски хихикнула.

«Понял, черт меня возьми... у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно... а потом, как лопнул, гной вытек... и все пришло на место...

★

Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый... Значит, нужно покорно учиться.

Журнал «Медицинский работник».
2 и 12 октября 1926 г.



ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ

*Посвящается всем редакторам
еженедельных журналов*

В правом кармане брюк лежали 9 копеек — два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки — брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд — 1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!
Хэ-ри-зан-темы в саду-у!

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

— Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

— Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мной на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калужской заставы
жил разбойник и вор — Комаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

— Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик...» «И в фартуке», — вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».

«Дураки», — ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный, — ответили мне мозги, — посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

«Не в фартуке, а в халате...»

«Почему он в халате? Ответь, кретин», — спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочке и вышел купить папирос «Трест». Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит:

— Мальчик, мальчик... — А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия».

«П-аршивенький рассказ, — весело бухнуло под фуражкой, — и тем более, что мы где-то уже это читали!»

— Молчать, я погибаю! — приказал я мозгам и открыл

глаза. Передо мной не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

— У меня часы украли сейчас, — сказал я.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— Ну, тогда пропали, — сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

— Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины.

— 10 копеек, — ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин...»

«Нуте-с?» — осведомились мозги... «Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой!! Ты украл, подлец» Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба».

«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.

«Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально, — рассмеялась голова и стала стучать, как часы, — но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городской. Нес-па¹, товарищ Бенвенутто Челлини?»

Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик

¹ — Не так ли? (от фр.: N'est — ce pas?)

доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».

«Мы этого извозчика помним, — сказали, остервенясь, воспаленные мозги, — еще по приложениям к Марксовской «Ниве». Раз пять мы его там встречали, набранного то petition, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!
За кирпичики
Полбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое празднующихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

— Кирпичики кирпичиками, — сказал заведующий, — а вот где обещанный рассказ?

— Представьте, какой гротеск, — сказал я, улыбаясь весело, — у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

— Вы обещали сегодня дать денег, — сказал я и вдруг в зеркале увидел, что я похож на пса под трамваем.

— Нету денег, — сухо ответил заведующий, по лицам я увидел, что деньги есть.

— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы, — заговорил я тенором, — я в понедельник его принесу к половине второго.

— Какой план рассказа?

— Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Празднующиеся подняли головы.

— Ну?

— И умер.

— Юмористический? — спросил редактор, сдвигая брови.

— Юмористический, — ответил я, утопая.

— У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал, — сказал редактор. — Дайте что-нибудь авантюрное.

- Есть, — ответил я быстро, — есть, есть, как же!
- Расскажите план, — сказал, смягчаясь, заведующий.
- Кхе... Один нэпман поехал в Крым...
- Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

- Ну и у него украли бандиты чемодан.
- На сколько строк это?
- Строк на триста. А впрочем, можно и... меньше. Или больше.

— Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто, — сказал заведующий, — но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

— Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.

— Дайте, дайте, — приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мной поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт, — говорил я кружке, — если они не оживут после пива, — значит конец. Они померли — мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получают обратно аванс»...

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

«Живы?» — спросил я.

«Живы», — ответили они шепотом.

«Ну, теперь сочиняйте рассказ!»

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью:

«Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

«Предположим так, начал я, пламеня. — ...Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!»...

«Здорово пошло дело, — заметили выздоровевшие мозги, — спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше... Вдохновенье, вдохновенье».

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта-Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,
Вдохновенье мне дано?
Как ваше мнение?!

Жара! Жара!

М. Булгаков. Рассказы. «Смехач» № 15.

*Юмористическая иллюстрированная библиотека. Илл. Н. Радлова.
Ленинград 1926г.*

«Отцветли хризантемы» — романс Харито на слова В. Шумского.

Челлини Беивенутто (1500—1571) — итальянский скульптор, писатель, автор всемирно известных мемуаров.

Чинизелли — семья знаменитых цирковых артистов и предприни-

мателей, с 1869 года — в России, основатель династии Газтано (1815—1881) в 1877 году построил в Петербурге здание цирка, ныне — Ленинградский цирк, снова переименованный — в Петербургский.

Марш Шуберта-Таузига — польский пианист и композитор Карл (Карол) Таузинг (1841—1871) — чех по национальности, ученик Ф. Листа. Гастролировал во многих странах мира, в России — в 1870 г. Автор произведений для фортепиано, для оркестра, фортепианных транскрипций, в том числе одного из военных маршей Ф. Шуберта.



ЗОЛОТЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФЕРАПОНТА ФЕРАПОНТОВИЧА КАПОРЦЕВА

В корреспонденциях Ферапонта Ферапонтовича Капорцева (проживает в провинции) исправлена мною только неуместная орфография. Одним словом — корреспонденции подлинные.

Корреспонденция первая

НЕСГОРАЕМЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДОМ

В общегосударственном масштабе известен жилищный кризис, докатившийся даже до нашего Благодатска. Не может быть свободно по той причине, что благодаря повышенной рождаемости, вызванной НЭПом, народонаселение растет с угрожающей быстротой, и вот наш известный кооператор Павел Федорович Петров (замените его буквами «Пе, Фе, Пе», а то будет скандал) решил выйти из положения кооперативным способом. Человек-то он, правда, развитой, но только скорохват американской складки. Все дело началось с того, что его супруга сверх всяких ожиданий родила вместо одного младенца — двойню, чем и толкнула Петрова на кооперативные поступки.

С разрешения начальства он образовал жилищно-строительное кооперативное бюро в составе Н. Н. Л. (агроном от первого брака его отца) и В. А. С. (жених его сестры — заведующий хоровым кружком культкомиссии) со взносом каждый в 12 червонцев для постройки американского дома термолитова типа — изумительной новинки в нашем городе.

Вообразите изумление закоренелых благодатцев, когда

на углу Новосвятской и Парижской Коммуны вырос буквально как гриб двухэтажный дом на три квартиры в расщелку с удобствами.

Очень похотие на заграничные дома на открытках Швейцарии с острой крышей. Более всего удивительно, что дом оказался несгораемый, что вызвало строительную горячку и подачу прошений в исполком (теперь их все взяли обратно).

Дураки нашего города смеялись над Петровым, предлагая испробовать дом при помощи керосина, но тот отказался, и, как оказалось, совершенно напрасно, не ходил бы он теперь к лету в шубе, с календарем в руках!

Все строительное бюро перевезло своих детей и все монетки 5 апреля (дом этот такого цвета, как папиросный пепел), и Петров дошел до того, что даже поставил в нем телефон.

А на первый день праздника, 19-го, на Пасху ночью наша бдительная пожарная команда была поставлена на ноги роковым сообщением по петровскому телефону:

— Пожар!!!

Наш брандмейстер Салов ответил по телефону:

— Вы будете оштрафованы за ложный вызов и пьяную пасхальную шутку. Этого не может быть.

Тут Петров с плачущим голосом отскочил от телефона и перестал действовать, потому что в нем перегорел уже провод.

Когда же вследствие зарева с каланчи наши молодцы-пожарные прибыли, то застали всю жилищно-американскую компанию стоящую в теплых шубах на улице, а дом сгорел, как факел, успев спасти кольцо его жены; запасную шубу главного американца Петрова, кастрюлю и отрывной календарь с изображением всероссийского старосты. Теперь возникает судебное дело: «О пожаре несгораемого дома». По-моему, это глупое дело! Да оно ничем и не кончится, потому что Салов обнаружил, что было самовозгорание проводов на чердаке.

Вот так все у нас в провинции происходит по-удивительному. В Москве бы он, вероятно, не сгорел.

Корреспондент Капорцев

ЛЖЕДМИТРИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ

(Из провинции от Капорцева)

В нашем славном Благодатском учреждении имеется выдающийся секретарь. Мы так и смотрим на него, что он на отлете.

Конечно, ему не в Благодатском сидеть, а в Москве или, в крайнем случае, в Ленинграде. Тем более что он говорил, что у него есть связи.

Над собой повесил надпись: «Рукопожатия переносят заразу», «Если ты пришел к занятому человеку, не мешай ему», «Посторонние разговоры по телефону строго воспрещаются», и кроме этого, выстроил решетку, как возле нашего памятника Карла Либкнехта, и таким образом оторвался от массы начисто.

Кто рот ни раскроет сквозь решетку, он ему говорит одно только слово: «Короче!» Короче. Короче. Каркает, как ворона на суку.

В один прекрасный день появляется возле решетки молодой человек. Одет очень хорошо, реглан-пальто. Рыженький. Усики. Галстук бабочкой. Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему:

— Вам что, товарищ? Короче!

А тот отвечает:

— Ничего, товарищ, я подожду. Вы заняты.

Голос у него великолепный, интеллигентный.

Тот брови нахмурил и говорит:

— Нет, вы говорите. Короче.

Тот отвечает:

— Я, видите ли, товарищ, к вам сюда назначен.

Тот брови поднял:

— Как ваша фамилия?

А тот:

— Луначарский.

Молодой человек так скромно кашлянул. Вежливый. — Луначарский.

Тот открыл загородку, вышел, говорит:

— Пожалуйста сюда (уже «короче» не говорит), — и спра-

шивает: — Виноват (заметьте: «виноват»), вы не родственник Анатолию Васильевичу?

А тот:

— Это не важно. Я — его брат.

Хорошенькое «не важно»! Загородку к черту. Стул.

— Вы курите? Садитесь! Позвольте узнать, а на какую должность?

А тот:

— За заведующего.

Здорово.

А заведующего нашего как раз вызвали в Москву для объяснений по поводу паровой мельницы, и мы знаем, что другой будет.

Что тут было с секретарем и со всеми, трудно даже описать — такое восхищение. Оказывается, что у Дмитрия Васильевича украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Красноземском, а оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь.

И вот список наших карьеристов:

1) Секретарь дал, смеясь, 8 червонцев.

2) Кассир — 3 червонца.

3) Заведующий столом личного состава — 2 червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву (не вернул).

4) Бухгалтер — 42 рубля и три пачки папирос «Посольских».

5) Кроме того, брату Луначарского выписали авансом 50 рублей в счет жалованья.

И отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный, принял заявления и на каждом написал «Удовлетворить».

Секретарь стал, как бес, все время не ходил, а бегал, как пушинка. Предлагал тотчас же телеграмму в Москву насчет документов, но столичный гость придумал лучше: «Я, — говорит, — все равно отправлюсь сейчас же инспектировать уезд, доеду до самого Красноземска, а оттуда лично по прямому проводу все сделаю».

Все подивились страшной быстроте его энергии. Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно, и на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод (при

этом: одеяло дал секретарь, два фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой).

До Красноземска три часа езды на машине. Ну, скажем, на прямом проводе один час, обратно — три часа. Вернулась машина в 11 часов вечера, шофер пьяный и говорит, что Дмитрий Васильевич остался ночевать у тамошнего председателя и распорядился прислать машину завтра, в 3 часа дня.

Завтра послали машину. Приезжает и — нету Дмитрия Васильевича. В чем дело — никто не может понять. Секретарь сейчас сам — скок в машину и в Красноземск. Возвращается на следующее утро — туча тучей и никому не смотрит в глаза. Мы ничего не можем понять. Бухгалтер что-то почуял насчет 42 целковых и спрашивает дрожащим голосом:

— А где же Дмитрий Васильевич? Не заболел ли?

А тот вдруг закусил губу и:

— Асс-тавьте меня в покое, товарищ Прокудин! — Дверью хлопнул и ушел.

Мы к шоферу. Тот ухмыляется. Оказывается, прямо колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Красноземске у председателя не ночевало. На прямом проводе, секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский — так прямо думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался, спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой.

Мы прямо ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе.

Как вдруг кассир спрашивает у шофера:

— Не зеленый ли галстук?

— Во-во.

Тут кассир вдруг говорит:

— Прямо признаюсь, я ему, осел, кроме трех червей еще шелковый галстук одолжил.

Тут мы ахнули и догадались, что самозванец.

На 222 рубля наказал подлиз наших. Не считая вещей и закусок. Вот тебе и «короче».

Ваш корреспондент *Капорцев*

ВАНЬКИН ДУРАК

Чуден Днепр при тихой погоде, но гораздо чуднее наш профессиональный знаменитый работник 20-го века Ванькин Исидор, каковой прилип к нашему рабклубу, как баный лист.

Ни одна ерунда в нашей жизни не проходит без того, чтобы Ванькин в ней не был.

Мы, грешным делом, надеялись, что его в центр уберут, но, конечно, Ванькина в центре невозможно держать.

И вот произошло событие. В один прекрасный день родили одновременно две работницы на нашем заводе Марья и Дарья, и обе — девочек: только у Марьи рыженькая, а у Дарьи обыкновенная. Прекрасно. Наш завком очень энергичный, и поэтому решили прооктябрить как ту, так и другую.

Ну, ясно и понятно: без Ванькина ничто не может обойтись. Сейчас же он явился и счастливым матерям предложил имена для их крошек: Баррикада и Бебелина. Так что первая выходила Баррикада Анемподистовна, а вторая Бебелина Иванна, от чего обе матери отказались с плачем и даже хотели обратно забрать свои плоды.

Тогда Ванькин обменял на два других имени: Мессалина и Пестелина, и только председатель завкома его осадил, объяснив, что «Мессалина» — такого имени нет, а это картина в кинематографе.

Загнали, наконец, Ванькина в пузырьки. Стих Ванькин, и соединенными усилиями дали мы два красивых имени: Роза и Клара.

— Как конфетка будут октябрины, — говорил наш председатель, потирая мозолистые руки, — лишь бы Ванькин ничего не изгадил.

В клубе имени тов. Луначарского народу набилось видимо-невидимо, все огни горят, лозунги сияют. И счастливые матери сидели на сцене с младенцами в конвертах, радостно их укачивая.

Объявили имена, и председатель предложил слово желающему, и, конечно, выступил наш красавец Ванькин. И говорит:

— Ввиду того и принимая во внимание, дорогие товари-

щи, что имена мы нашим трудовым младенцам дали Роза и Клара, предлагаю почтить память наших дорогих борцов похоронным маршем. Музыка, играй!

И наш капельмейстер, заведующий музыкальной секцией, звучно заиграл: «Вы жертвою пали». Все встали в страшном смятении, и в это время окрестность вдруг огласилась рыданием матери № 2 Дарьи вследствие того, что ее младенец Розочка на руках у нее скончалась.

Была картина, я вам доложу! Первая мать, только сказав Ванькину:

— Спасибо тебе, сволочь, — брызнула вместе с конвертом к попу, и тот не Кларой, а простой Марьей окрестил ребеночка в честь матери.

Весь отставший старушечий элемент Ванькину учинил такие октябрины, что тот еле ноги унес через задний ход клуба.

И тщетно наша выдающая женщина-врач Оль-Мих. Динамит объясняла собранию, что девочка умерла от непреодолимой кишечной болезни ее нежного возраста и была уже с 39 градусами и померла бы, как ее ни называй, никто ничего не слушал. И все ушли, уверенные, что Ванькин девчонку похоронным маршем задавил наповал.

Вот-с, бывают такие штуки в нашей милой отдаленности.

С почтением *Капорцев*

«Рассказы», «Смехач», № 15. Ленинград, 1926 г.

В этот цикл юмористических новелл входит и «Брандмейстер Пожаров», опубликованная в «Накануне», 6 апреля 1924 года, и вошедшая во второй том.

Публикуется по сборничку рассказов.



АНГЛИЙСКИЕ БУЛАВКИ

1

Принимать бокс за классовую борьбу — глупо.
Еще глупей — принимать классовую борьбу за бокс.

2

Не каждый не делающий своего дела, забастовщик.

3

«Время — деньги». Принимай поэтому деньги вовремя.

4

«Английская болезнь» не всегда консерватизм.
Иногда это — просто рахит.

5

Если ты бездейственен по натуре, не вступай в Совет Действия.

6

Совет короля плюс Совет Действия не создают еще советской системы.

7

Объявить забастовку незаконной — нельзя.
Можно — просто объявить забастовку.

8

Водить массы за нос — еще не значит быть вождем.

9

Туманными фразами Лондона не удивишь: в нем и без того туманно.

10

Не объясняй лондонского томским — тебе не поверят.

11

Если в палате лордов темно — не удивляйся: «высший свет» — одно, а электрический свет — другое.

12

Не суди забастовщиков за «нарушение тишины». Из-за них ведь затихла вся Англия.

13

Конституция — как женщина. Ей не следует хвастать старостью.

14

Присягая королю, можешь покраснеть. Присяга твоя от этого не станет красной присягой.

15

Входя в Букингемский дворец, не говори: «мир хижинам». Это совершенно неуместно.

16

На Бога надейся, а с епископом Кентерберийским не спорь.

17

Не бойся политики. Она отнюдь не жена Поллита.

18

Не говори «дело в шляпе», если знаешь, что дело в кепке.

19

Если ты джентльмен, не входи в парламент в короне: головные уборы снимать обязательно.

20

Снявши парик, по голове не плачут.

Ол. Райт

«Бузотер», 1926, № 11



ТИПАЖ

Мощный звонок перешиб «Шествие сардара».

— С вами говорит администратор ленинградских, московских и провинциальных театров, — сказал голос на фоне бубнов «Сардара», — желательно переговорить с вами по делу.

— Приезжайте ко мне в два часа дня.

— А в час? — спросил далекий администратор.

— Ну... хорошо.

Администратор выключился, затем обогнал Америку и явился в час без четверти.

Гость одет был в пиджак, полосатые брюки, ботинки на пуговках. Гость был с лысиной, бородкой и печальными глазами.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал я, изумляясь тому, что при госте нет портфеля.

Впрочем, отсутствие портфеля возмещалось наличием драгоценного камня в засаленном галстуке, по всем признакам — изумруда.

— Мерси, — сказал гость, — фамилия моя — Суворов-Таврический.

— Скажите, — воскликнул я, стараясь, чтобы изумление мое не приняло неприличных форм. — Без сомнения, Таврический — ваш псевдоним?

— Нет, — ответил гость, — как раз Таврический — фамилия, а псевдоним — Суворов. По отцу я — Таврический, а по матери — Котомкин.

— Таким образом, вы — Котомкин-Таврический.

— Да, — подтвердил гость. — Вам, может быть, моя фамилия неприятна?

— Помилуйте! — воскликнул я.

— О вас много и тепло говорил мне Бобров в Ленинграде. Вы знаете Боброва?

— К сожалению, нет... Но я много слышал о нем хорошо, о Боброве, — поспешил я утешить гостя.

Как известно, люди, говорящие о вас много и тепло, редки. Гораздо чаще встречаются такие, что говорят мало, но пакостно, поэтому я сразу взял Боброва на заметку.

— Вы Ленинград знаете? — спросил Суворов.

— Как же!..

— В том месте, где трамваи поворачивают с проспекта 25 Октября, направляясь к «Европейской» гостинице, и где стоит...

— Громаднейший бюст! — подтвердил я.

— Да. В один прекрасный день мая я сел в трамвай, имея при себе в кармане 1200 рублей казенных денег. Нужно вам заметить, что я влюблен в строительство социализма, и вид новых кубиков, которыми мостили, вызвал у меня взрыв восторга. Мысленно я видел великий город в садах и рабочих домах... Проехав четыре квартала, я вышел из трамвая, взялся за карман, зашатался и едва ли не упал... — Тут ужас выразился в мутных глазах Котомкина-Суворова: — Денег при мне не было.

— Вырезали?!

— Вырезали. В то время, когда я любовался кубиками. Я лишился службы в театре.

— А в каком вы служили?

Таврический махнул рукой:

— Мне больно говорить об этом. Три месяца я метался по Ленинграду и покрыл растрату. По счастью, друзья мои, Туррок и тот же Бобров, помогли мне, и я получил место.

— В другом театре?

— Нет, это был кооператив. Мне дали место кассира. Коротко скажу: не успел я прослужить и двух недель, как в том же трамвае и в том же месте у меня вырезали шестьсот семьдесят казенных рублей.

— Однако! — воскликнул я нервно.

— Но это не все, — сказал Суворов, — я переехал в Москву. Мне помогли, и вот я снова при должности.

— В кооперативе?

— Нет, вновь в театре. И по моей специальности, администратором. Я вздрагивал от радости, любуясь вашим го-

родом, не совру вам: я плакал не раз в своем номере гостиницы, представляя себе столицу через пять лет...

— Позвольте, — перебил я, — почему плакали?

— Счастливыми слезами, — объяснил Суворов, потом вдруг из глаз его буквально хлынули слезы на пиджак. Он взревел и повалился на колени. Все в голове у меня перевернулось кверху ногами.

— Спасите меня! — каким-то паровозным голосом завыл Котомкин, и в соседней комнате залаяла собака. — В трамвае № 34 на третий день вырезали двести казенных рублей!

— Черт знает что такое... — сказал я тупо.

Произошла пауза, во время которой Котомкин поднялся и заломил руки.

— Ваш изумруд... — начал я.

— Взгляните на него на свет, — пригласил Котомкин.

Я глянул и перестал говорить об изумруде.

— Во всем доме... — начал я, но лицо Котомкина стало так ужасно, что я закончил так: — Во всем доме пятнадцать рублей, и из них десять я вручаю вам.

— Сто девяносто! Еще сто девяносто! — прошептал Суворов. — Вы представляете меня под судом?

Я подумал и ответил:

— Неясно.

В голове моей созрел план.

«Почему негодный Валя никогда не отзывается обо мне так хорошо, как Бобров? Дай-кося я ему сделаю пакость...»

И я сказал:

— У меня есть знакомый...

— О, да! — воскликнул Котомкин страстно. — О, да! Позвоните ему!

Я позвонил Вале и сказал, что к нему хочет приехать администратор по делу.

Котомкин же взял десять рублей и покинул меня.

Через час последовал звонок по телефону.

— Это свинство, — мрачно сказал Валя, кашляя.

— А вы кому-нибудь передали его?

— Юре, — ответил Валя.

И наконец вечером был звонок.

— Я хочу направить к вам... — сказала женщина-писательница Наталья Альбертовна, — администратора...

— А, не надо, — ответил я, — он был у меня.

— Что вы говорите?! Гм... Скажите, пожалуйста, кто такой Бобров?

И тут настал час отплатить Боброву за добро.

— Бобров? Сказать о нем, что он порядочный человек, это мало, — с чувством сказал я в трубку, — наипорядочнейший человек и великолепный знаток людей! Вот каков Бобров!

И, повесив трубку, я с тех пор ничего не слышал ни о Боброве, ни о несчастном, преследуемом судьбою Котомкине-Суворове.

Середина 1920-х гг.

«Литературная газета», 21 февраля 1973 г.



Я УБИЛ

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

— Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-е число.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

«Что он там разыскал?» — подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас у меня в гостях прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успе-

вающий читать, несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника».

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим — молчаливый и несомненно скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и бляения «мня-я» и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие веки в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: «Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге и быть тебе нужно только писателем...»

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а шурился на цифру «2», на неизвестную даль.

«Что он там разыскал? Картинка, что ли». Я покосился через плечо и увидел, что картинка самая интересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: «Сравнительная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил)».

— Все это вздор, товарищи, — заговорил я, продолжая беседу, — обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, на сто первый у него больной и помрет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

— Обязательно скажут, что зарезал, — отозвался доктор Гинс.

— И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять, — уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинику.

— Терпеть не могу, — продолжал я, — фальшивых и покаянных слов: «Я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках, больного, убивает несчастная случайность. Смешно, в самом деле! Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманым на-

мерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке — это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:

— Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себе в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта.

Мы посмотрели на него с удивлением.

— То есть как? — спросил я.

— Я убил, — пояснил Яшвин.

— Когда? — нелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру «2» и ответил:

— Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу, 2-е число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и... — Яшвин вынул черные часы, поглядел, — ...да... час в час почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля я убил его.

— Пациента? — спросил Гинс.

— Пациента, да.

— Но не умышленно? — спросил я.

— Нет, умышленно, — отозвался Яшвин.

— Ну, догадываюсь, — сквозь зубы заметил скептик Плонский, — рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе...

— Нет, морфий тут ровно ни при чем, — ответил Яшвин, — да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется, иногда мучительно в поезд... и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съелся в кресле и продолжал:

— Грозный город, грозные времена... и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в

комнате тепло, уютно, а я сижу на полу, над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

— Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушаюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжело так тянет — бу-у... гу-у... Тяжелые орудия. Пойдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, на верху Алексеевского спуска, виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу:

— Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал — с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, — уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили, и в них люди с красными галунными шлыками на папах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем, и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то просто-волосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

— Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

«Содержанием сего...»

Кратко, в переводе на русский язык:

«С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...»

Значит, таким образом: Вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батяню Петлюра, погомы — и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю-фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью, среди сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

— Вы ликарь Яшвин? — спросил первый кавалерист.

— Да, я, — ответил я глухо.

— С нами поедете, — сказал первый.

— Что это значит? — спросил я, несколько оправившись.

— Саботаж, вот що, — ответил гроыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, — ликаря не хочут мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

— Куда же вы меня ведете? — спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

— В первый конный полк, — ответил тот, со шпорами.

— Зачем?

— Як зачем? — удивился второй. — Назначаетесь к нам ликарем.

— Кто командует полком?

— Полковник Лещенко, — с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

«Сукин я сын, — подумал я, — мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше...»

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество.

Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел ключьями.

«А ведь это кровь», — подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

— Пан полковник, — негромко сказал тот, со шпорами, — ликаря доставили.

— Жид? — вдруг выкрикнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами.

Был туго перетянут кавказским поясом с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блестящем электричестве на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

— Нет, не жид, — ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

— Вы не жид, — заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке — смеси русских и украинских слов, — но вы не лучше жида. И, як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить! — приказал он кавалеристу. — И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен.

Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

— Змилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидал трясущуюся бородавку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

— Дезертир? — пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой. — Их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятку ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевшие башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наростом мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же как стыли

ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадобится непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека..

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгнула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, иода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. «Бежать», — я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплившей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал в чем дело. Там кого-нибудь избивали шомполами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

— За что вы их? — спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил:

— Организация попала в Слободке. Коммунисты и жида. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забвения, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:

— Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

— Сволочь, — процедил полковник, потом обратился ко мне: — Ну, пан ликарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди, — приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь.

В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудия», — подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

— От чего это?

— Перочинным ножом, — ответил полковник хмуро.

— Кто?

— Не ваше дело, — отозвался он с холодным злобным презрением и добавил: — Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть...»

— Снимите марлю, — сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышались топот, возня, грубый голос закричал:

— Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее иступление может выражаться в очень странных формах.

Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

— Уйди, хлопец, уйди, — приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

— За что мужа расстреляли?

— За що треба, за то и расстреляли, — отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алеял под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

— А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

— Ай, ай, — продолжала она, и глаза ее пылали, — ай, ай. Какой вы подлец... Вы в университете обучались и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

— Вы мне говорите? — спросил я и почувствовал, что дрожу. — Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

— Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

— Дайте ей 25 шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевком, повисший на правом усе.

— Женщину? — спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

— Эге-ге... — сказал он и глянул зловеще на меня. — Теперь я вижу, какую птицу мне дали вместо ликаря...

*

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть...» — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекло ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, — я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

— Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

— Ночью ушли. В Киеве ревом.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

— Идите, доктор, домой.

И я пошел.

*

После молчания я спросил у Яшвина:

— Он умер? Убили вы его или только ранили?

Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:

— О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.

«Медицинский работник», 8 и 12 декабря 1926 г.



ПРИВЫЧКА

Обстрелянный английскими крейсерами, Нанкин пылал, как смоляной факел. Армия Чжан-Чжун-Чана отступала перед напавшими кантонцами.

Два рослых китайских офицера, шедшие в стороне от бегущих солдат, до сих пор угрюмо молчавшие, вдруг заговорили.

— Как по нотам, — сказал один из них, помоложе, на чистом русском языке. — Как по нотам, ваше сиятельство!

— Что говорите, барон?

— Говорю, история повторяется. Опять нас бьют. Который раз?

— Ежели по китайскому счету, так выгоняли нас из Гуандана, Гауанси, Квейчоу, Хунана, Хубея, Цзянси, Фунцзяна, Шанхая...

— Не то. Я беру шире. В мировом масштабе! — сказал барон фон Шпекс, истинно русский патриот и «славянофил своей родины», хотя бы она была в Китае. — Начиная с Киева.

Князь молча провел правой рукой по усам. Это когда-то считалось «шиком» в гвардейских полках. Полки исчезли. Вместо заложенных карет остались заложенные бриллианты в столицах Европы, но привычка гладить усы «по-царски» осталась.

— Помню, как мы бежали из Одессы! — сказал князь. — Точно так же очищал нам дорогу на юг английский дредноут «Карадок». Точно так же гремели раскаты выстрелов.

— Предатели эти англичане, — тихо сказал другой, — не могли Одессу разрушить, как Нанкин?

— Ну, знаете, привычки не было! Опыт — великое дело:

сколько времени прошло, сколько крови пролилось, барон? Научились!

— А эвакуацию из Севастополя помните? Замечательная эвакуация была. Порядок. Ни одного жителя не брали с собой без выкупа! А девчонки?!

Князь покраснел от воспоминаний.

Офицеров нагнал «Ролс-Ройс». Английский «собственный корреспондент» перегнулся через крыло автомобиля и что-то спросил по-китайски. Офицеры молчали. Он спросил по-английски. Молчание.

— Русские мы, русские! — закричал князь. — Добровольческий отряд. 3000 человек, сэр, за идею сражаемся. Китай завоюем, пойдем на Сибирь... Колчак... Врангель! Понимаете?

«Собственный корреспондент» кивнул рыжей головой, хотя понял он только одно слово: Врангель.

«Как в Одессе! — подумал он, вспоминая поспешное отступление врангелевцев перед красными. — Как в Севастополе... Ну, и народ! Хлопот с ними не оберешься».

— Хороши гуси! — сказал барон, сплевывая вдогонку отъезжающему «Ролс-Ройсу». — Любят чужими руками жар загребать.

— Просвещенные мореплаватели... Сволочь! — мрачно и задумчиво соглашался барон.

И они стали догонять свой уверенно отступавший отряд.

Ол. Райт

«Бузотер», 1927, № 15



МОРФИЙ

I

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, व्योужный, стремительный год!

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в саниах, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И, вот я увидел их вновь наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими саниах, улица, на которой, чаруя взор, висели — вывеска с сапогами, золотой креидель, избражение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту стра-

ницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня). Фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? — Пожалуйста, вон — низенький корпус, вон — крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усика-

ми и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом — главный врач-хирург. Воспаление легких? — В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынувший чай, и сон после бессонных полутора лет...

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого выюжного участка.

II

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с бс-лезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера выбираясь из самых диких положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...

«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май — и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с

моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло — придется, возможно, еще поездить... но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника...

Асфальт, огни...»

Так думал я.

«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал от-
важным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?!
В самом деле? А?... Психических болезней не лечил... Ведь...
верно, нет, позвольте... А агроном допился тогда до чертей...
И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка... Чем не
психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну
ее. Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую
очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особен-
ности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ре-
бенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать
на прием? 0,1 или 0,15?... Забыл. А если три года?... Только дет-
ские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачитель-
ных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот
участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?... Зелен-
ный огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну
и довольно... Спать...»

— Вот письмо. С оказией привезли...

— Давайте сюда.

Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим
воротником было накинута поверх белого халата с клей-
мом. На синем дешевом конверте таял снег.

— Вы сегодня дежурите в приемном покое? — спросил я,
зевая.

— Я.

— Никого нет?

— Нет, пусто.

— Ешли... (зевота раздирала мне рот, и от этого слова я
произносил неряшливо), — кого-нибудь привезут... вы
дайте мне знать сюда... Я лягу спать...

— Хорошо. Можно иттить?

— Да, да. Идите.

Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в

спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.

В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк...

Я усмехнулся.

«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...

— Ничего не понимаю... Путаный рецепт... — пробормотал я и уставился на слово «morphini...» Что, бишь, тут необычайного в этом рецепте?.. Ах да... Четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

«11 февраля 1918 года

Милый collega!

Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжело и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».

— Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку... как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее!

— Счас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

— Кто привез письмо?

— А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

— Гм... ну ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

— Хорошо.

Моя записка главному врачу:

13 февраля 1918 года.

«Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.

Уважающий вас

д-р Бомгард».

Ответная записка главного врача:

«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте.

Петров».

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции N, а от нее двадцать две версты проехать на санях до Гореловской больницы.

«При удаче я буду в Горелове завтра ночью, — думал я, лежа в постели. — Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и написал просто: «Я заболел воспалением легких». А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... «Тяжко... и нехорошо заболел...» Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе... он скрывает... он боится... Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... Ну нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день после моего приезда... Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать меня.

«В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему 25 лет... «Тяжко...» Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое?.. «Надежда блеснет...» — в романах так пишут, и вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно... Завтра».

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое и не романическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась какая-то беда... И жилка моя легче...

Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают мозговые клетки?! Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп...

Хм, да... ну это сон...

Тук, тук... Бук, бук, бук... Ага... Кто? Кто? Что?... Ах, стучат, ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело? Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлапала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого... Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она! В дверь тихо постучали.

— В чем дело?

Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

— Кого привезли?

— Доктора с Гореловского участка, — хрипло и громко ответила сиделка, — застрелился доктор.

— По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

— Фамилии-то я не знаю.

— Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась — и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце, в туче снега, я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.

— Ваш? Поляков? — спросил, покашливая, хирург.

— Ничего не пойму. Очевидно, он, — ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

— Поляков? — спросил я.

— Да, — ответила Марья Власьевна, — такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти...

— Когда?

— Сегодня утром на рассвете, — бормотала Марья Власьева, — прибежал сторож, говорит... «у доктора выстрел в квартире...».

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные, ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли — и показались слипшиеся, влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил :

— Бросьте камфару. К черту.

— Молчите, — ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

— Сердечная сумка, надо полагать, задета, — шепнула Марья Власьева, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

— Револьвер? — дернув щекой, спросил хирург.

— Браунинг, — пролепетала Марья Власьева.

— Э-эх, — вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Марья Власьева болезненно сморщилась, вздохнула.

— Доктора Бомгарда... — еле слышно сказал Поляков.

— Я здесь, — шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

— Тетрадь вам... — хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:

«Милый товарищ!

Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересуется Вас, прочтите историю моей болезни.

Прощайте. Ваш С. Поляков».

Приписка крупными буквами:

«В смерти моей прошу никого не винить.

Лекарь Сергей Поляков.

13 февраля 1918 года».

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

«..7 год¹, 20 января.

...и очень рад... И слава Богу: чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных и крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, это не интересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.

21 января.

Вьюга. Ничего.

25 января.

Какой ясный закат. Мигренин — соединение *antipygin'a* *coffein'a* и *ас citric*.

В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. Можно.

3 февраля.

Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. «Аида» шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне...»

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...

(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)

...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически — глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла! Не хочет жить — ушла. И конец. Как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

¹ Несомненно, 1917 год. Д-р Бомгард.

Убить ее? Убить! Ах, как все глупо, пусто. Безнадежно!
Не хочу думать. Не хочу...

11 февраля.

Все выюги да выюги... Заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.

Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна — фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один.

15 февраля.

Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался лечь спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина — сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели? Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего?

Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим, а Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену.

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли.

Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо — без мыслей о моей, обманувшей меня.

16 февраля.

Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня нехмурым.

— Разве я хмурый?

— Очень, — убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.

— Такой уж я человек.

Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы.

Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудную костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм.

Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.

18-го.

Четыре укола не страшны.

25-го февраля.

Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач, 1½ шприца morph. Да.

1-го марта.

Доктор Поляков, будьте осторожны!

Вздор.

Сумерки.

Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я — мужчина.

Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.

Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются...

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле: куда к черту годится человек, если малейшая невралгика может выбить его совершенно из седла!

Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громадной силой воли.

2 марта.

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II.

Я ложусь спать очень рано. Часов в девять. И сплю сладко.

10 марта.

Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее.

Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.

Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.

Так что вот — я вижу жутко освещенную рампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной, необык-

новенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна... (в нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу...) беззвучна, а в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой — замечательный писатель!

Теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающиеся краски «Аиды» выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол и слышны, прорываясь сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, — восемь часов, — это Анна К., идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею.

И такой опыт я проделал вчера:

А н н а. — Сергей Васильевич...

Я. — Я слышу... (тихо музыке — «сильнее»).

Музыка — великий аккорд.

Ре-диез...

А н н а. — Записано двадцать человек.

А м н е р и с (поет).

Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.

Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.

А теперь я спокоен.

Я спокоен.

19 марта.

Ночью у меня была ссора с Анной К.

— Я не буду больше готовить раствор.

Я стал ее уговаривать:

— Глупости, Аннуся. Что я, маленький, что ли?

— Не буду. Вы погибнете.

— Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!

— Лечитесь.

— Где?

— Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила.) Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку.

— Да что я, морфинист, что ли?

— Да, вы становитесь морфинистом.

— Так вы не пойдете?

— Нет.

Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав.

Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц — оказалось четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, — ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу — ее нет.

Ушла.

Представьте себе — не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.

— Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.

Она шепнула:

— Не дам.

— Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач.

Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость.

Но тут же злость опять наплыла на меня.

Она :

— Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я — жалеючи вас.

И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их.

Я (грубо):

— Дайте ключи!

И вырвал их из ее рук.

И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим мосткам.

В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица!

Шел и трясся.

И слышу: сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

— Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо ответила:

— Давайте сделаю...

Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

— Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И себя я проклиная за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

— Сколько вы сейчас впрыснули? ...

— Да не волнуйтесь вы!

...В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, *Morphium hydrochloricum* грозная штука, привычка создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

...По правде говоря, эта женщина единственный верный, настоящий мой человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию...

8 апреля 1917 года.

Это мучение.

9 апреля.

Весна ужасна.

Черт в склянке. Кокаин — черт в склянке. Действие его таково:

При впрыскивании ... почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной, тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать — не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав иодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологий, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громохая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках... а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни...

13 апреля.

Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин — сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я — полутруп...

6-го мая 1917 года.

Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны).

Итак, если вести историю болезни, то вот: я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки ...

Прежние мои записки несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.

Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрочки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит:

— 40 грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею.

Он говорит:

— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам. И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.

Нет, зрочки, только зрочки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более полугода я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого.

18 мая.

Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза.

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия:

«...Большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания...»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Двигается, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды — райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стоит и шевелится, когда впервые языки пламени лижут его ноги...

Смерть — сухая, медленная смерть...

Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние».

Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздых. Еще вздох.

Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой...
<...> Этого мне хватит до полуночи...

Вздор. Эта запись — вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.

Этой глупой борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя.

(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)

...ря

...ать рвота в 4 час. 30 минут.

Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.

14 ноября 1917 г.

Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном — о чудных, божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризованная пушечным буханьем...

(Здесь страница вырвана.)

...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм.

Да что костюм!

Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору N. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило

все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он — психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку.

Он сказал:

— Спасибо, — и добавил: — Что же вы теперь думаете делать?

Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):

— Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:

— Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому вы говорите?..

— Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особенности теперь, когда происходят все эти события... меня совершенно издергала стрельба...

— Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять.

Тут я вспомнил все... холодные коридоры... пустые, масляной краской выкрашенные стены... и я ползу, как собака с перебитой ногой... чего-то жду... Чего? Горячей ванны?.. Укольчика в 0,005 морфия. Дозы, от которой, правда, не умирают... но только... а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала... Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мною дверь и силою удержать меня в лечебнице...

Профессор побагровел.

— Я не тюремный надзиратель, — не без раздражения молвил он, — и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две недели назад. А между тем... — Он выразительно повторил мой жест испуга, — я вас не держу-с.

— Профессор, верните мою расписку. Умоляю вас, — и даже голос мой жалостливо дрогнул.

— Пожалуйста.

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и т. д., словом, обычного типа).

Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав :

— Благодарю вас.

Затем встал, чтобы уходить. И пошел.

— Доктор Поляков! — раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. — Вот что, — заговорил он, — одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже... И притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.

Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня) .

— Я, — сказал я глухо, — умоляю вас, профессор, ничего никому не говорить... Что ж, меня удалят со службы... Ославят больным... За что вы хотите мне это сделать?

— Идите, — досадливо крикнул он, — идите. Ничего не буду говорить. Все равно вас вернут...

Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда... Почему?..

Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 граммов однопроцентного раствора.

Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? По совести?

Взломал бы.

Итак, доктор Поляков — вор. Страницу я успею вырвать.

Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной

личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда.

Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине — ... раствора — вещь для меня бесполезная и нудная. ... И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке ... — написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я — морфинист? Кому какое дело, в конце концов?

Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, — способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество — это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость...

Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

Гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдыхать после московских приключений, я хочу их забыть.

И забыл.

Забыл.

18 ноября.

Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом :

Распад личности — распадом, но все же я делаю попытки

воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. ... Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!

Да... Так... вот... когда стало плохо, я решил все-таки помучиться (пусть бы полюбовался на меня профессор N) и оттянуть укол и ушел к реке.

Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней... Идут, идут к Левковской больнице... И я ползу, опираясь на палку (сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно — почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке?.. А потом, откуда старушонка, какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на десять верст кругом — никого. Туманцы, болотца, леса! А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине — понял! Старушонка не бежит, а именно л е т и т, не касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну... и морфию...

И я прибежал.

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.

19-го ноября.

Рвота. Это плохо.

Ночной мой разговор с Анной 21-го:

А н н а. — Фельдшер знает.

Я. — Неужели? Все равно. Пустяки.

А н н а. — Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь?

Посмотри на свои руки, посмотри.

Я. — Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.

А н н а. — Ты посмотри — они же прозрачны. Одна кость и кожа...

Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа, уезжай, заклинаю тебя, уезжай...

Я. — А ты?

А н н а. — Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.

Я. — Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.

А н н а (печально). — Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис-жена?

Я. — О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее.

А н н а. — Ах ты, Боже... что мне делать?..

Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии.

27-го декабря.

Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали заменить его. На мой участок — женщина-врач.

Анна — здесь... Будет приезжать ко мне...

Хоть 30 верст.

Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни — и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой.

Прощай, Левково, Анна, до свиданья.

1918 год

Январь.

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

15-го января.

Рвота утром.

Три шприца четырехпроцентного раствора в сумерки.

Три шприца четырехпроцентного раствора ночью.

16-го января.

Операционный день, потому большое воздержание — с ночи до 6 часов вечера.

В сумерки — самое ужасное время — уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:

— Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.

После впрыскивания все прошло сразу.

17-го января.

Вьюга — нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество.

Здесь нужно быть осторожным — здесь фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременно рецепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран.

Из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая

рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека!

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.

Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.

На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.

18-го января.

Была такая галлюцинация: жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь!

Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко. Жизнь? Смешно!

19-го января.

Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

«Что вы видите смешного в этой болезни?..»

Но удержался, удержж...

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.

Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них много несправедливого.

1 февраля.

Анна приехала. Она желта, больна.

Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех.

Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.

Исполню ли ее?

Да. Исполню.

Т. е. буду жив.

3 февраля.

Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе будет вскоре, если ты любила меня...

11 февраля.

Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он над... я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.

На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся... Не важно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.

Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу выдумывать предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

Люди! Кто-нибудь поможет мне?

Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал — фальшь. Но никто не прочт.

Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убежал из Москвы. Какой ужасный вечер! Краденый морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнется дверь...

С тех пор и фурункулы у меня.

Плакал ночью, вспомнив это.

12-го ночью.

И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью?

1918 года 13 февраля на рассвете в Гореловке.

Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Четырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?

По зрелому размышлению Бомгард не нужен мне, и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Таковую — нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?

Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.

Теперь Бомгарду. Все...»

V

На рассвете 14-го февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли?

По-моему, нужны.

Теперь, когда прошло десять лет, — жалость и страх, вызванные записями, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны.. Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 г. от сыпного тифа, на том же участке, где работала. Амнерис — первая жена Полякова — за границей. И не вернётся.

Могу ли я печатать записки, подаренные мне?

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.

1927 г. Осень

*Журнал «Медицинский работник».
1927, № 45-47, за 9, 17, 23 декабря.*

Рассказ автобиографический. Татьяна Николаевна Лаппа, вспоминая годы молодости, рассказывала М. О. Чудаковой: «... отсасывая через трубку дифтеритные пленки из горла больного ребенка, Булаков случайно инфицировался и вынужден был ввести себе противодифтеритную сыворотку. От сыворотки начался зуд, выступила сыпь, распухло лицо. От зуда, болей он не мог спать и попросил впрыснуть себе морфий. На второй и третий день он снова попросил жену вызвать сестру, боясь нового приступа зуда и связанной с ним бессонницы. Повторение инъекций в течение нескольких дней привело к эффекту, которого он, медик, не предусмотрел из-за тяжелого физического самочувствия: возникло определенное привыкание организма к небольшим дозам морфия. Началась изнурительная внутренняя борьба с этой привычкой» (Москва, 1987, № 6).

Татьяна Николаевна герончески сражалась с этой привычкой... И в конце концов победила!



МНЕ ПРИСНИЛСЯ СОН...

Мне приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз, и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром.

И видел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он погибал под стальной тростью, и во сне я ясно понял, что его зовут Фурман, что он портной, что он ничего не сделал, и я во сне крикнул, заплакав:

— Не смей, каналья!

И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул:

— Тримай його!

Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем погибнуть в пытке, и кинулся к штабелю дров. Но браунинг, как всегда во сне, не захотел стрелять, и я, задыхаясь, закричал.

Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я безумно далеко от Владимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом, что это 23-й год и что уж нет давным-давно изрытого оспой человека.

Хромая, еле ступая на больную ногу, я дотащился к лампе и зажег ее. Она осветила скудость и бедность моей жизни. Я увидел желтые встревоженные зрачки моей кошки. Я подобрал ее год назад у ворот. Она была беременна, а какой-то человек, проходя, совершенно трезвый, в черном пальто, ударил ее ногой в живот, и женщина у ворот видела это. Бессловесный зверь, истекая кровью, родил мертвых двух котят и долго болел у меня в комнате, но не зачах, я вы-

ходил его. Кошка поселилась у меня, но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно трудно. Моя комната находилась под крышей и была расположена так, что я мог выпускать ее гулять на крышу и зимой, и летом...

Она затосковала, увидя, что я поднялся, открыла глаза и стала следить за мною хмуро и подозрительно. Я глядел на потертую клеенку и растравлял свои раны. Я вспомнил, как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек и обида осталась неотомщенной. И мне захотелось уехать в тот город, где он жил, и вызвать его на дуэль. Тут же вспомнил, что он уже много лет гниет в земле и праха даже его не найдешь. Тогда, как злые боли, вышли в памяти воспоминания еще о двух обидах. Они повлекли за собою те обиды, которые я нанес сам слабым существам, и тогда все ссадины на душе моей загорелись. Я, тоскуя, посмотрел на провод. Он свешивался и притягивал меня. Я думал о безнадежности моего положения, положив голову на клеенку. Была жизнь и вдруг разлетелась, как дым, и я почему-то оказался в Москве, совершенно один в комнате, и еще на голову мою навязалась эта обиженная дымчатая кошка. Каждый день я должен был покупать ей на гривенник мяса и выпускать ее гулять, и кроме того, она рожала три раза в год, и всякий раз мучительно, невыносимо, и приходилось ей помогать, а потом платить за то, чтобы одного котенка утопили, а другого растить и затем умильно предлагать кому-нибудь в доме, чтобы взяли и не обижали.

Обуза, обуза.

Из-за чего же это все?

Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством.

Я простонал и пошел к дивану. Свет исчез. Во тьме некоторое время пели пружины простуженными голосами. Обиды и несчастья мало-помалу начали расплываться.

Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это Рождество. Из-за угла выскочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сеткой.

— Гись! — крикнул во сне кучер. Я откинул полость, дал кучеру денег, открыл тихую и важную дверь подъезда и стал подниматься по лестнице.

В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечесать, и в каждой из них важные, обо-

льстительные вещи. От пианино отделился мой младший брат. Смеялся, поманил меня пальцем. Несмотря на то, что грудь его была прострелена и залеплена черным пластырем, я от счастья стал бормотать и захлебываться.

— Значит, рана твоя зажила? — спросил я.

— О, совершенно.

На пианино над раскрытыми клавишами стоял клавир «Фауста», он был раскрыт на той странице, где Валентин поет.

— И легкое не затронуто?

— О, какое легкое?

— Ну, спой каватину.

Он запел.

От парового отопления волнами ходило тепло, сверкали электрические лампы в люстре, и вышла Софочка в лакированных туфлях. Я обнял ее. Потом сидел на своем диване и вытирал заплаканное лицо. Мне захотелось увидеть какого-нибудь колдуна, умеющего толковать сны. Но и без колдуна я понял этот сон.

Фиолетовая сеть на рысаке — это был год 1913-й. Блестящий, пышный год. А простреленная грудь, это неверно — это было гораздо позже — 1919. И в квартире этой брат быть не мог, это я когда-то жил в квартире. На Рождестве я вел под руку Софочку в кинематограф, снег хрустел у нее под ботинками, и Софочка хохотала.

Во всяком случае, черный пластырь, смех во сне, Валентин означать могли только одно — мой брат, которого в последний раз я видел в первых числах 1919 года, убит. Где и когда, я не знаю, а может быть, не узнаю никогда. Он убит, и, значит, от всего, что сверкало, от Софочки, ламп, Жени, фиолетовых помпонов, остался только я один на продранном диване в Москве ночью 1923 года. Все остальное погибло.

Ночь беззвучна. Пахнет плесенью. Не понимаю только одного, как могло мне присниться тепло? В комнате у меня холодно.

*

...Хорошо умирать в квартире на чистом душистом белье или в поле. Уткнешься головой в землю, подползут к тебе,

поднимут, повернут лицом к солнцу, а у тебя уж глаза стеклянные.

Но смерть что-то не шла.

«Бром? К чему бром? Разве бром помогает от разрыва сердца?»

Все же руку я опустил к нижнему ящику, открыл его, стал шарить в нем, левой рукой держась за сердце. Брому не нашлось, обнаружил два порошка фенаcetина и несколько стареньких фотографий. Вместо брома я выпил воды из холодного чайника, после чего мне показалось, что смерть отсрочена.

Прошел час. Весь дом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно успокоилось, и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. И страшного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался.

Встал я из-за стола, когда в коридоре послышалось хриплое покашливание бабки Семеновны, женщины, ненавидимой мною всей душой за то, что она истязала своего сына, двенадцатилетнего Шурку. И сейчас даже, когда со времени этой ночи прошло шесть лет, я ненавижу ее по-прежнему.

Я откинул штору и увидел, что лампа больше не нужна, на дворе синело, на часах было семь с четвертью. Значит, я просидел за столом пять часов.

*

С этой ночи каждую ночь в час я садился к столу и писал часов до трех-четырёх. Дело шло легко ночью. Утром произошло объяснение с бабушкой Семеновной.

— Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел?

— Так точно, горел.

— Знаете ли, электричество по ночам жечь не полагается.

— Именно для ночей оно и предназначено.

— Счетчик-то общий. Всем накладно.

— У меня темно от пяти до двенадцати вечера.

— Неизвестно тоже, чем люди по ночам занимаются. Теперь не царский режим.

— Я печатаю червонцы.

— Как?

— Червонцы печатаю фальшивые.

— Вы не смейтесь, у нас домком есть для причесанных дворян. Их можно туда поселить, где интеллигенция, нам, рабочим, эти писания не надобны.

— Бабка, продающая тянучки на Смоленском, скорее частный торговец, чем рабочий.

— Вы не касайтесь тянучек, мы в особняках не жили. Надо будет на выселение вас подать.

— Кстати, о выселении. Если вы, Семеновна, еще раз начнете бить по голове Шурку и я услышу крик истязуемого ребенка, я подам на вас жалобу в народный суд, и вы будете сидеть месяца три, но мечта моя посадить вас на больший срок.

Для того чтобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать днем. Как существовал в течение времени с 1921 года по 1923-й, я вам писать не стану. Во-первых, вы не поверите, во-вторых, это к делу не относится.

Но к 1923 году я возможность жить уже добыл.

На одной из моих абсолютно уж фантастических должностей со мной подружился один симпатичный журналист по имени Абрам.

Абрам меня взял за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал.

Я предложил по его наущению себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию.

Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я ее переработал, ее куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная, куда девать их, сообщил, что я найден негодным.

Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через

несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя Абрама.

Одно вам могу сказать, мой друг, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шел дождь.

Опять-таки не припомню, почему мне было предложено писать фельетон. Обработки мои здесь не играли никакой роли. Напротив, каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что, я вам только скажу по секрету, работник я был плохой, неряшливый, ленивый... Возможно (и кажется, так), что сыграла здесь роль знаменитая, неподражаемая газета «Сочельник». Издавалась она в Берлине, и в ней я писал фельетоны...

В один прекрасный день ввалился наш знаменитый Июль, помощник редактора (его звали Юлий, а прозвали Июль), симпатичный человек, но фанатик, и заявил:

— Михаил, уж не ты ли пишешь фельетоны в «Сочельнике»?

Я побледнел, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался единодушным повальным презрением у всех на свете. Но, оказывается, Июль хотел, чтобы я писал такие же хорошие фельетоны, как и в «Сочельнике».

И тут произошел договор. Меня переводили на жалованье повыше того, чем у обработчика, а я за это обязывался написать восемь небольших фельетонов в месяц. Так дело и пошло.

Открою здесь еще один секрет: сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение, и посвистывание, от восемнадцати до двадцати двух минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, — восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем-то своей фамилией и нес его или к Июлю, или к другому помощнику редактора, который носил редко встречающуюся фамилию Навзикат.

Этот Навзикат был истинной чумой моей в течение лет трех. Выяснился Навзикат к концу третьих суток. Во-пер-

вых, он был неумен. Во-вторых, груб. В-третьих, заносчив. В газетном деле ничего не понимал. Так что почему его назначили на столь ответственный пост, недоумеваю.

Навзикат начинал вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем какой-нибудь преступной мысли. Убедившись, что явного вреда нет, он начинал давать советы и исправлять фельетон.

В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по голове.

Испортив по возможности фельетон, Навзикат ставил на нем пометку: «В набор», и день для меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на одну идею, как сбежать. Дело в том, что Июль лелеял такую схему в голове: все сотрудники, в том числе и фельетонисты, приходят минута в минуту утром и сидят до самого конца в редакции, стараясь дать государству как можно более. При малейших уклонениях от этого честный Июль начинал худеть и истощаться.

Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всею душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начинал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до оупения.

Наконец, убив часа два, я исчезал. Таким образом, мой друг, я зажил тройной жизнью. Одна в газете. День. Льет дождь. Скучно. Навзикат. Июль. Уходишь, в голове гудит и пусто.

Вторая жизнь. Днем после газеты я плелся в московское отделение редакции «Сочельника». Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой.

Нужно вам сказать, что, живя второю жизнью, я сочинил нечто листа на четыре приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это была не повесть, а так, что-то такое вроде мемуаров.

Отрывок из этого произведения искусства мне удалось напечатать в литературном приложении к «Сочельнику». Второй отрывок мне весьма удачно пришлось продать одному владельцу частного гастрономического магазина. Он пылал страстью к литературе и для того, чтобы иметь возможность напечатать свою новеллу под названием «Зло-

дей», выпустил целый альманах. Там было, стало быть, новелла лавочника, рассказ Джека Лондона, рассказы советских писателей и отрывок вашего слуги. Авторам он заплатил. Часть деньгами, часть шпротами. Дальше заело. Сколько ни бегал по Москве с целью продать кому-нибудь кусок из моего произведения, я ничего не достиг. Кусок не прельщал никого, равно как и произведение в целом...

Меж тем фельетончики в газете дали себя знать. К концу зимы все было ясно. Вкус мой резко упал. Все чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истерные сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям. Лишь только я пытался сделать работу потоньше, на лице у палача моего Навзиката появлялось недоумение. В конце концов я махнул на все рукой и старался писать так, чтобы было смешно Навзикату. Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил.

Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил:

— Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику вы разразитесь хорошим героическим рассказом.

Я бледнел и краснел, и мялся.

У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все что угодно и что ему безразлично, что ни написать. Сами понимаете, что на эту тему я с Навзикатом не беседовал. Июль был тоньше и умней и без бесед сообразил, что с героическими рассказами у меня не склеится. Печаль заволокла совершенно его бритую голову. Кроме того, я, спасая себя, украл к концу третьего месяца один фельетон, а к концу четвертого парочку, дав семь и шесть.

— Михаил, — говорил потрясенный Июль, — а ведь у тебя только шесть фельетонов.

Июль со всеми, начиная с наиответственного редактора и кончая уборщицей, был на «ты». И все ему платили тем же.

— Неужели только шесть? — удивился я. — Верно, шесть. Ты знаешь, Июль, у меня в последнее время частые мигрени.

— От пива, — поспешно вставил Июль.

— Не от пива, а от этих самых фельетонов.

— Помилуй, Михаил. Ты тратишь два часа в неделю на фельетон!

— Голубчик, если бы ты знал, чего стоит этот час.

— Ну, не понимаю... В чем дело!..

Навзикат сделал попытку прийти на помощь Июлю. Идеи рождались в его голове, как пузыри.

— Надеюсь, что вы разразитесь фельетоном по поводу французского министра.

Я почувствовал головокружение.

Вам, друг, объясняю, и вы поймете: мыслимо ли написать хороший фельетон по поводу французского министра, если вам до этого министра нет никакого дела?.. Где министр, что министр?!

Словом, в конце концов отступились от меня. На радостях, что я навеки избавился от французских министров и русских горняков, я украл в этом месяце три фельетона, дав пять фельетонов. Стыжусь признаться, что в следующем я представил четыре. Тут терпение Июля лопнуло, и он перевел меня на сдельную работу.

Середина 20-х гг.

«Неделя», 1973, № 43.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Петелин. Счастливая пора.....</i>	<i>5</i>
Собачье сердце	46
Банщица — Иван	138
О пользе алкоголизма	141
Свадьба с секретарями.....	145
Как Бутон женился.....	147
Буза с печатями	149
Смычкой по черепу	152
Двуликий Чемс	155
Запорожцы пишут письмо турецкому султану	158
Работа достигает 30 градусов.....	161
Караул!.....	165
Шпрехен зи дейтч?	169
Угрызаемый хвост	172
При исполнении святыа обязанностей	174
Человек с градусником	177
По поводу битъя жен.....	180
Негритянское происшествие	183
Дрожжи и записки	185
Когда мертвые встают из гробов	187
Кулак бухгалтера	190
Как на тетканы деньги местком подарок купил	193
Выбор курорта	196
Путешествие по Крыму.....	199
Пожар.....	214
Таракан	217
Летучий голландец.....	225
Благим матом	227
Не те брюки	229
Страдалец-папаша	231

Мертвые ходят.....	234
Динамит!!!	236
Горемыка-Всеволод	239
Ликующий вокзал	242
Сентиментальный водолей	244
На чем сидят люди	248
«Вода жизни»	250
Паршивый тип.....	254
Чемпион мира.....	259
Тайна нескораемого шкафа	263
Акафист нашему качеству	269
Музыкально-вокальная катастрофа	273
Радио-Петя	277
Бубновая история.....	281
Пьяный паровоз	288
Громкий рай	292
Развратник	294
Колесо судьбы	297
Стальное горло.....	301
Крещение поворотом	310
Вьюга	320
Тьма египетская.....	333
Звездная сыпь	343
Полотенце с петухом.....	357
Пропавший глаз	370
Воспаление мозгов	383
Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича	
Капорцева.....	390
Английские булавки.....	397
Типаж	400
Я убил.....	404
Привычка.....	416
Морфий.....	418
Мне приснился сон.....	449

«ГОЛОС» — КНИГА ПОЧТОЙ

Нам приятно, когда читают наши книги.

Заинтересовавшие вас книги мы вышлем вам по почте наложенным платежом.

Для этого необходимо прислать заявку по адресу: 113184, Москва, ул.Пятницкая, д.52,стр.1.

Цены и подробную информацию о наших книгах вы можете узнать из нашей рекламы в газете «Книжное обозрение» в конце каждого месяца или по тел.:(095) 233-02-25.

Мы ждем ваших заказов.

Булгаков М.А.

Б 90 Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3. Собачье сердце. — М.: Голос, 1995. — 464 с.

ISBN 5-7117-0307-2 (т. 3)

ISBN 5-7117-0304-8

В третий том Собрания сочинений Михаила Булгакова вошли повести, рассказы, очерки и фельетоны, написанные автором в период (март) 1925—1927 годы.

УДК 882

ББК 84 (2Рос-Рус) 6-44

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

Собрание сочинений

Том 3

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Редактор *С. Фрольцова*

Художественный редактор *В. Голубев*

Технический редактор *Н. Александрова*

Корректоры *Ю. Павлович, Л. Новикова*

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 040020 от 6.07.91
Сдано в набор 07.02.95. Подписано в печать 01.06.95. Формат 84х108¹/₃₂.
Бумага офсетная № 1. Печать высокая. Гарнитура "Таймс".
Усл. печ. л. 24,36. Тираж 20000 экз. Заказ 1360

Издательство «Голос»: 113184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 52, стр. 1

Оригинал-макет изготовлен ТОО «Компания ДЛШ»,
Новокузнецкая ул., 24, стр. 2. (т. 233-02-38).

Отпечатано на издательско-полиграфическом
предприятии «Правда Севера»
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ
И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПРОМСТРОЙБАНКА РОССИИ



ПРОМСТРОЙБАНК Р О С С И И

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ПРОМСТРОЙБАНКА,
ПРЕЗИДЕНТ
КОРПОРАЦИИ «РАДИОКОМПЛЕКС»
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ШИМКО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ПРОМСТРОЙБАНКА
ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ ДУБЕНЕЦКИЙ**







